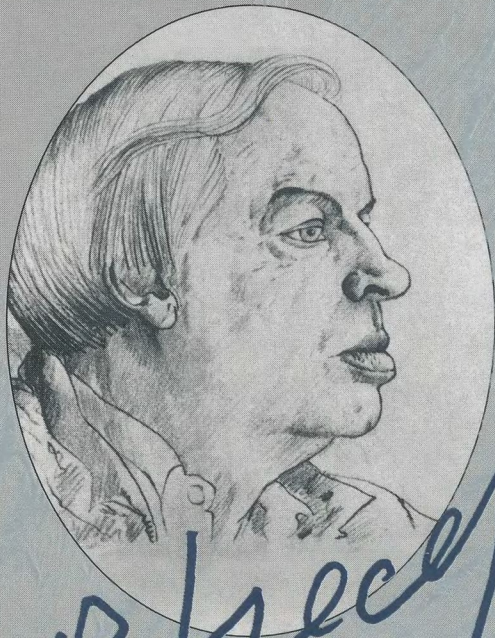




ПРОЗА
Поэма



Вознесенский

Андрей
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ




В А Г Р И У С

ПОЭМА

Поэма



Андрей
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the printed name. The signature is highly expressive and cursive, starting with a large 'В' and ending with a flourish.

М О С К В А . В А Г Р И У С . 2 0 0 0

УДК 882-3
ББК 84Р7
В 64

**В оформлении переплета использован
портрет Г.Грасса**

Охраняется законом РФ об авторском праве.

ISBN 5-264-00305-X

© Издательство «ВАГРИУС», 2000
© А. Вознесенский, автор, 2000
© Т. Костерина, дизайн серии, 2000

Улисс улиц

Я — з/к языка.

Язык — наша связь с потусторонним. Волюнтаризм со словом опасен. Разве подозревал некто, наивно повесив над Москвою неуклюжие словообразования «Агробанк» и «Диамбанк», что этим он вызовет взрыв банковской системы? Но проступило: аГРОБанк и диАМБАНк. Грянул кризис.

Улисс улиц, моська московской уличной речи, я люблю устричный особняк Шехтеля, люблю прозрачные телефонные трубки переходов, положенные на Окружную. Люблю слушать наития, горящие над городом.

И приезжий заволнуется, увидев на углу Петровки призывную вывеску: «КООПИЗДАТЕЛЬСТВО». И пахнет эклером глазурированный дамский журнал «Мари Клер». И торжествующе вопит со всех столичных улиц нарисованный под циферблатом слоган: «Время пошло!» Увы, не время пошло, господа, может быть, пошлы наши понятия о нем?

Поэт и проза?

Читатель ждет уж рифмы «Оза»...

Проза это — про что? Про захват заложников. Про зависть. Про зады постмодернизма. Про и контра экспроприаторов. Про ПРО...

Твардовский — прозаик в поэзии. Олеша — наоборот.

Наша проза — прозападная, постпрустовская.

Поэзия высвобождает музыку, окликает этнос.

По Эзре Паунду, поэзия — попытка вселенской связи, увы, неосуществимая.

Проза поэта — это запонки, связующие смысл звука со звуком смысла, эзотерическую простоту с эзотерически безголосым сфинксом.

Большинство прозаиков начинали со стихов. Да и первые книги человечества — Библия, Коран — написаны стихами. Коран — буквально.

Крупницы поэзии наполняют смыслом бессмысленность нашего существования. Кубик четверостишия из «Марбурга», растворенный в двух хрустальных ведрах родниковой воды про запас, стал томом «Лужина». Так же, как строки из «Девятьсот пятого года» стали главами «Живаго».

Поступки и судьбы рифмуются, прежде чем стать языком.

Когда я, пропетляв по проселочной, выхожу на просеку, мне сквозь утробный рев лягушек и помехи высоковольтных передач доносятся сигналы свыше. Я не все в них понимаю. Но если Бог посылает тебе сигналы, значит, твоя жизнь, твой путь идут правильно. Других корректив я не знаю.

И станет видно во все края света, и разомкнутся связи, и слова, слово в Интернете, без границ табу, будут медленно кувыряться, как люди и табуретки в космосе.

Поэзия? Проза? Праязык?

Языковая ДНК Хлебникова заключена в его «Бобэоби». Из него можно клонировать поэта, как из пушкинских строк: «Пирушки...» и «Пунша пламень голубой» можно воскресить самого Пушкина. Но нужно ли?

Мы уходим в Слово, и не важно, кто является посредником — пергамент, книга или Интернет.

Я — з/к языка.

Мое первое стихотворение

Мальчик возвращался из школы по зимним курганским улочкам. Плечи второклассника стягивал ранец. Смеркалось.

В одноэтажных домишках кое-где таинственно зажигались святочные слюдяные окна. Уральский морозец щипал щеки малолетнего москвича. Он дышал через шарф.

На углу Железнодорожной улицы он заметил трех огольцов, чем-то занятых у сухого дерева.

«Аборигены, — размышлял мальчик, — гвардейцы кардинала хуевы. Ща отметелят. Пора събывать через пус-тырь».

Но подростки не обратили внимания на нашего путника. Они играли в гестаповцев. Главный был одет в черную шинель, на пряжке ремня отсвечивали буквы «ЖУ». Судили партизанку. Партизанкой была дворняжка, вернее, щенок черный с рыжими подпалинами. Дерево служило виселицей. Кутяш тыкался мордой в руки мучителей, не понимая пла-

чевности своего положения. Четвертый побежал домой за веревкой. Шел допрос.

— У, засранка, комсомольская проблядь! Где Сталин?! Отвечай, падаль. Ссы на его портрет, а не то вздернем — блядь буду, вот те крест, век свободы не видать...

— Хуй вам в жопу, — отвечала героическая партизанка. — Сталин придет, всех вас раком выебет. На жопу глаз натянет! Вам всем срать не досрать до великого вождя.

Мальчик подошел ближе. «А ведь они замудохают щенка».

— Ты чо?! Хули тебе, куированный? — Гестаповцы устались на мальчика.

— Москвичка — в жопе спичка, — тоненько завопил дразнилку меньшей из них, тот, который озвучивал партию партизанки.

— Курган — в жопе наган, — находчиво отпарировал москвич. — Пацаны! Махнемся? Кутенка — на лупу...

Он достал из кармана свое заветное сокровище — увеличительное стекло, все в ссадинах от ношения в кармане. «За собачку, бля...»

Сделка состоялась. «Ну, хуярь отсюда, — прокричал ему вслед старший. — Ишо раз поймаем — отпиздим».

Мальчик бежал домой. На груди под пальто у него дышал теплый комок, билось сердечко, существо еще более беззащитное, чем он, которое он мог спасти, помочь.

«Как охмурить родителей? Ни фига, щеночек, прорвемся как-нибудь...» — думал малыш.

«Спаситель мой, Виконт де Бражелон, незнакомый рыцарь мой, ты пахнешь бубликом, цветочным мылом, чистым детским потом, мое сердечко разрывается от преданности к тебе, я вырасту большой, буду защищать тебя от жестокого мира, буду есть из твоих рук, ах, боже мой, ка-

кое счастье — засыпать на его груди», — думала обмененная пленница.

Назвали ее Джульбой. Она провожала меня в школу, прятаясь за кустами, ожидала после уроков, визжа от вожделения, прыгала и лизала в лицо.

Собственно, мы были почти одной породы с ней, дети огородов, чистых низких инстинктов. Уровень наших глаз совпадал. Мы видели мир снизу.

Мы воровали подсолнухи, жрали жмых, были свидетелями кошачьих, куриных и собачих свадеб. Постоянно голодные, мы, как и наши четвероногие собратья, промышляли, где бы что откусить. Как и они, мы настороженно относились к взрослым, опасаясь подвоха. Мы дразнили старшего мальчика «проститут» за его страсть с козой. Он был неопрятен, соплив, но улыбался чему-то неизведанному нами. Лексикон, ныне называемый ненормативным, выражал для нас чистую, первозданную суть природы. Мы знали и, спрятавшись, глазели, когда по утрам сосед Николаев шагал в дощатую скворешню уборной. За ним шла красавица Надежда. Когда он садился на очко, как на трон, она становилась перед ним на колени.

Джульба была с нами и, затаившись, замирала.

Порой я прятал ее под кроватью, и мы засыпали с ней, сопя от счастья и понимания.

Когда приходили гости и собиралось застолье, меня клали за занавеской в той же комнате. За полночь они пели песни. Как-то, помню, мама, нарядная и раскрасневшаяся, заглянула за занавеску.

— Ты что не спишь?

— Песню жду.

- Какую еще песню?
- Про мышку.
- Про какую еще мышку?
- Про шумелку.
- ??
- Шумелка — мышь... мышка...
- Какая же мышь-шумелка? Она тихая...

«Шумел камыш, шумелкамышумелкамышумелкамыш», — затаили гости. Я уплывал в эту мелодию. Джульба посапывала в такт под одеялом.

Хозяйка наша Анна Ивановна, пустившая эвакуированных в свой дом, под вечер садилась на крыльцо и, дыша перегаром, трепала Джульбу: «У, шишига, кикимора лесная, девочка, целка ты, еще не ебаная...» Джульба урчала от счастья.

Но однажды отец объявил, что завтра мы уезжаем в Москву. Ура!

— А Джульба? — Мы с сестрой ударились в рев. Родители переглянулись и обещали взять ее с собой.

На станции во время погрузки, среди летней пыли, она томилась, привязанная к столбу. Ее должны были отправить грузовым вагоном вместе с лошадьми.

— Охуели совсем! — взмолился измученный хозяйственник по фамилии Баренбург. Он матерился дискантом, как будто мелко крестился. — Да она же лошадей покусает...

Задышавшись, я бежал от станции к дому на Железнодорожной. Передо мной, визжа от счастья, неслась Джульба, понимая, что бежит домой, но не чуя, что мы расстаемся.

Под стук колес, зареванный, не простив предательства взрослых, я написал первые в жизни стихи. О первой сердечной боли, о первой любви.

Джужба, помнишь тот день на станции,
Куда на веревке тебя привели?
Трудно было расстаться нам
В этой серой курганской пыли.

Джужба, помнишь, когда в отчаяньи,
Проклиная Баренбурга что есть силы,
Клялся тебе хозяин
Не забыть тебя до могилы?

Анна Ивановна прислала нам письмо. Во первых строках она сообщала, что Джужба как сбесилась, она врывается в комнаты, ищет, кидается на людей, не ест, воеет. «Все ищет мальчика», — писала хозяйка.

«И холодно было младенцу в вертепе...»

«Тебя Пастернак к телефону!»

Оцепеневшие родители уставились на меня. Шестиклассником, никому не сказавшись, я послал ему стихи и письмо. Это был первый решительный поступок, определивший мою жизнь. И вот он отозвался и приглашает к себе на два часа, в воскресенье.

Стоял декабрь. Я пришел к серому дому в Лаврушинском, понятно, за час. Подождав, поднялся лифтом на темную площадку восьмого этажа. До двух оставалась еще минута. За дверь, видимо, услышали хлопнувший лифт. Дверь отворилась.

Он стоял в дверях.

Все поплыло передо мной. На меня глядело удивленное удлиненно-смуглое пламя лица. Какая-то оплывшая стеариновая вязаная кофта обтягивала его крепкую фигуру. Ветер шевелил челку. Не случайно он потом для своего автопортрета изберет горящую свечку. Он стоял на сквозняке двери.

Сухая, сильная кисть пианиста.

Поразила аскеза, нищий простор его нетопленного кабинета. Квадратное фото Маяковского и кинжал на стене. Англо-русский словарь Мюллера — он тогда был прикован к переводам. На столе жалась моя ученическая тетрадка, вероятно приготовленная к разговору. Волна ужаса и обожания прошла по мне. Но бежать поздно.

Он заговорил с середины.

Скулы его подрагивали, как треугольные остовы крыльев, плотно прижатые перед взмахом. Я боготворил его. В нем была тяга, сила и небесная неприспособленность. Когда он говорил, он поддегивал, вытягивал вверх подбородок, как будто хотел вырваться из воротничка и из тела.

Вскоре с ним стало очень просто. Исподтишка разглядываю его.

Короткий нос его, начиная с углубления переносицы, сразу шел горбинкой, потом продолжался прямо, напоминая смуглый ружейный приклад в миниатюре. Губы сфинкса. Короткая седая стрижка. Но главное — это плывущая дымящаяся волна магнетизма. «Он, сам себя сравнивший с конским глазом...»

Через два часа я шел от него, неся в охапке его рукописи — для прочтения, и самое драгоценное — машинописную только что законченную первую часть его нового романа в прозе под названием «Доктор Живаго» и изумрудную тетрадь новых стихов из этого романа, сброшюрованную багровым шелковым шнурком. Не утерпев, раскрыв на ходу, я глотал запыхавшиеся строчки:

И холодно было младенцу в вертепе...

Все елки на свете, все сны детворы,

Весь трепет затепленных свечек, все цепи...

В стихах было ощущение школьника дореволюционной Москвы, завораживало детство — серьезнейшая из загадок Пастернака.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи...

Стихи сохранили позднее хрустальное состояние его души. Я застал его осень. Осень ясна до ясновиденья. И страна детства приблизилась.

...Все яблоки, все золотые шары...

С этого дня жизнь моя решилась, обрела волшебный смысл и предназначение: его новые стихи, телефонные разговоры, воскресные беседы у него с двух до четырех, прогулки — годы счастья и ребячьей влюбленности.

* * *

Почему он откликнулся мне?

Он был одинок в те годы, отвержен, изнемог от травли, ему хотелось искренности, чистоты отношений, хотелось вырваться из круга — и все же не только это. Может быть, эти странные отношения с подростком, школьником, эта почти дружба что-то объясняют в нем? Это даже не дружба льва с собачкой, точнее — льва со щенком.

Может быть, он любил во мне себя, прибежавшего школьником к Скрябину?

Его тянуло к детству. Зов детства не прекращался в нем.

Он не любил, когда ему звонили, — звонил сам, иногда по нескольку раз на неделе. Потом были тягостные перерывы. Никогда не рекомендовался моим опешившим домашним по имени-отчеству, всегда по фамилии.

Говорил он взახлеб, безоглядно. Потом на всем скаку внезапно обрывал разговор. Никогда не жаловался, какие бы тучи его ни омрачали.

«Художник, — говорил он, — по сути своей оптимистичен. Оптимистична сущность творчества. Даже когда пишешь вещи трагические, ты должен писать сильно, а уныние и размазня не рожают произведения силы». Речь лилась непрерывным захлебывающимся монологом. В ней было больше музыки, чем грамматики. Речь не делилась на фразы, фразы на слова — все лилось бессознательным потоком сознания, мысль проборматывалась, возвращалась, околдовывала. Таким же потоком была его поэзия.

* * *

Когда он переехал насовсем в Переделкино, телефонные звонки стали реже. Телефона на даче не было. Он ходил звонить в контору. Ночная округа оглашалась эхом его голоса из окна, он обращался к звездам. Жил я от звонка до звонка. Часто он звал меня, когда читал на даче свое новое.

Дача его напоминала деревянное подобие шотландских башен. Как старая шахматная тура стояла она в шеренге других дач на краю огромного квадратного переделкинского поля, расчерченного пахотой. С другого края поля, из-за кладбища, как фигуры иной масти, поблескивали церковь и колокольня XVI века вроде резных короля и королевы, игрушечно раскрашенных, карликовых родичей Василия Блаженного.

Порядок дач поживался под убийственным прицелом кладбищенских куполов. Теперь уже мало кто сохранился из хозяев той поры.

Чтения бывали в его полукруглом фонарном кабинете на втором этаже.

Собирались. Приносили снизу стулья. Обычно гостей бывало около двадцати. Ждали опаздывавших Ливановых.

Из сплошных окон видна сентябрьская округа. Горят леса. Бежит к кладбищу машина. Паутиной тянет в окно. С той стороны поля, из-за кладбища, пестрая как петух, бочком проглядывает церковь — кого бы клюнуть? Дрожит воздух над полем. И такая же взволнованная дрожь в воздухе кабинета. В нем дрожит нерв ожидания.

Чтобы скоротать паузу, Д.Н.Журавлев, великий чтец Чехова и камертон староарбатской элиты, показывает, как сидели на светских приемах — прогнув спину и лишь ощущая лопатками спинку стула. Это он мне делает замечание в тактичной форме! Я чувствую, как краснею. Но от смущения и упрямства сутулюсь и облакачиваюсь еще больше.

Наконец опаздывающие являются. Она — оробевшая, нервно-грациозная, оправдываясь тем, что трудно было достать цветы. Он — огромный, разводя руками и в шутовском ужасе закатывая глазищи: премьер, сотрясатель мхатовских подмостков, гомерический исполнитель Ноздрева и Потемкина, этакий рубаха-барин.

Затихали. Пастернак садился за стол. На нем была легкая серебристая куртка типа френча, вроде тех, что потом вошли в моду у западных левых интеллектуалов. Стихи он читал в конце. В тот раз он читал «Белую ночь», «Соловья», «Сказку», ну, словом, всю тетрадь этого периода. Читая, он всматривался во что-то над вашими головами, видимое только ему. Лицо вытягивалось, худело. И отсвета белой ночи была куртка на нем.

Мне далекое время мерещится,
Дом на стороне Петербургской.
Дочь степной небогатой помещицы,
Ты — на курсах, ты родом из Курска.

Проза? Поэзия? Как в белой ночи все перемешалось. Он называл это своей главной книгой. Диалоги он произносил, наивно стараясь говорить на разные голоса. Слух на просторечье у него был волшебный! Как петушок, подскакивал Нейгауз, выкрикивал, подмигивал слушателям: «Пусть он, твой Юрий, больше стихов пишет!» Собирал он гостей, по мере того как оканчивал часть работы. Так все написанное им за эти годы, тетрадь за тетрадью весь поэтический роман, я прослушал с его голоса.

Чтения обычно длились около двух часов. Иногда, когда ему надо было что-то объяснить слушателям, он обращался ко мне, как бы мне объясняя: «Андрюша, тут в «Сказке» я хотел как на медали выбить эмблему чувства: воин-спаситель и дева у него на седле». Это было нашей игрой. Я знал эти стихи наизусть, в них он довел до вершины свой прием называния действия, предмета, состояния. В стихах цокали копыта:

Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.

Он щадил самолюбие аудитории. Потом по кругу спрашивал, кому какие стихи пришлись больше по душе. Большинство отвечало: «Все». Он досадовал на уклончивость ответа. Тогда выделяли «Белую ночь». Ливанов назвал «Гамлета». Несыгранный Гамлет был его трагедией, боль эту он заглушал гаерством и куражами буффона.

Гул затих. Я вышел на подмости,
Прислонясь к дверному косяку...

Пастернак так рассказывал мне его историю. Получив постановку «Гамлета» во МХАТе и главную роль, Ливанов для пушего торжества над противником решил заручиться поддержкой Сталина. На приеме в Кремле он подошел с бокалом к Сталину и, выкатив преданные глаза, спросил: «Вы все знаете, скажите, каким надо играть Гамлета?» Расчет был точен. Если вождь ответит, скажем: «Гамлет — лиловый» или «зеленый», то Ливанов будет ставить по-своему, говоря, что выполняет указание. Но Сталин ответил: «Я думаю, что «Гамлета» не надо вообще играть». И, насладившись эффектом, добавил: «Это характер декадентский». С тех пор при жизни вождя «Гамлета» не ставили на нашей сцене.

Ливанов сморкался. Еще более обозначились его набрякшие подглазья. Но через минуту он уже похохатывал, потому что всех приглашали вниз, к застолью.

Спускались. Попадали в окружение, в голубой фейерверк испаряющихся натурщиц кисти его отца, едва ли не единственного российского художника-импрессиониста.

О эти переделкинские трапезы! Стульев не хватало. Стаскивали табуреты. Застолье вел Пастернак в упоении грузинского ритуала. Хозяин он был радушный. Вгонял в смущение уходящего гостя, всем сам подавал пальто.

Кто они, гости поэта?

Сухим сиянием ума шуруется крохотный, тишайший Генрих Густавович Нейгауз, Гаррик, с неотесанной гранитной шевелюрой. Рассеянный Рихтер, Слава, самый молодой за столом, чуть смежал веки, дегустируя цвета и звуки. «У меня вопрос к Славе! Слава! Скажите, существует ли искусство?» — навзрыд вопрошал Пастернак.

«Я знал качаловского Джима. Не верите? — вскипал громоподобный Ливанов и наливался. — Дай лапу, Джим... Это был черный злобный дьявол. Вельзевул! Все трепетали. Он входил и ложился под обеденный стол. Никто из обедавших

не смел ногой шевельнуть. Не то что по шерстке бархатной потрогать. Враз бы руку отхватил. Вот каков кунштюк! А он сказал: «Дай лапу мне...» Выпьем за поэзию, Борис!»

Рядом смущенно и умильно жмурился большеглазый Журавлев в коричневой паре, как майский жук. Мыслил Асмус. Разлаписто, по-медвежьи заходил Всеволод Иванов, кричал: «Я родил сына для тебя, Борис!»

Здесь же сидел мальчик Кома и читал стихи: «Тюльпаны, тюльпаны, тюльпаны кому?!»

Помню античную Анну Ахматову, августейшую в своей поэзии и возрасте. Она была малоречива, в широком одеянии, подобном тунике. Пастернак усадил меня рядом с ней. Так на всю жизнь и запомнил ее в полупрофиль. Но даже она почти не существовала для меня рядом с Пастернаком.

Врезался приход Хикмета. Хозяин поднял тост в честь него, в честь революционного зарева за его плечами. Назым, отвечая, посетовал на то, что вокруг никто ничего не понимает по-турецки, а что он не только зарево, но и поэт и сейчас почитает стихи. Читал буйно. У него была грудная жаба, он тяжело дышал. Затем радушный хозяин поднял тост за него. Тост был опять про зарево. Когда Хикмет уходил, чтобы не простыть на улице, завернул грудь под рубахой газетами — нашими и зарубежными, — на даче их было навалом. Я пошел проводить его. На груди у поэта шуршали события, шуршали земные дни.

Заходил готический Федин, их дачи соседствовали. Чета Вильям-Вильмонтов восходила к осанке рокотовских портретов.

Жена Бориса Леонидовича, Зинаида Николаевна, с обиженным бантиком губ, в бархатном черном платье, с черной короткой стрижкой, похожая на дам артнуво, волновалась, что сын ее, Стасик Нейгауз, на парижском конкурсе должен играть утром, а рефлекс у него на вечернюю игру.

Рубен Симонов со сладострастной негой и властностью читал Пушкина и Пастернака. Мелькнул Вертинский. Под гомерический стон великолепный Иракий Андроников изображал Маршака.

Какое пиршество взору! Какое пиршество духа! Ренессансная кисть, вернее кисть Боровиковского и Брюллова, обрела плоть в этих трапезах.

Сейчас с удивлением глядишь на нищее убранство его дачи, на сапоги обходчика, которые он носил, на плащ и на кепку, как у нынешних небогатых работяг, на низкие потолки — а ведь тогда они казались чертогами.

Он щедро дарил моему взору великолепие своих братьев. У нас был как бы немой заговор с ним. Порой сквозь захмелевший монолог тоста я вдруг ловил его смешливый карий заговорщицкий взгляд, адресованный мне, сообщавший нечто, понятное лишь нам обоим. Казалось, он один был мне сверстником за столом. Эта общность тайного возраста объединяла нас. Часто восторг на его лице сменялся выражением ребячьей обиды, а то и упрямством.

Иногда он просил меня читать собравшимся стихи. Ныряя в холодную воду, дурным голосом я читал, читал...

Тогда по небу летели замурованные в спутник собачки Белка и Стрелка. Жалость по ним провыла в моих строчках:

Эх, Россия!
Эх, размах...
Пахнет псиной
в небесах.

Мимо Марсов,
Днепрогэсов,
мачт, антенн,
фабричных труб

страшным символом прогресса
носится собачий труп...

Особенно пользовалось успехом в олимпийской аудитории описание Первого фестиваля молодежи:

Пляска бутылок,
блузок, грудей —
это в Бутырках
бреют блядей.
Волос под ноль,
волю под ноль —
больше не выйдешь
под выходной...

Одно из стихотворений кончалось так:

Несется в поверья
верстак под Москвой,
а я подмастерье
в его мастерской.

Но при нем я этого не читал.

Это были мои первые чтения на людях.

Иногда я ревновал его к ним. Конечно, мне куда дороже были беседы вдвоем, без гостей, вернее, монологи, обращенные даже не ко мне, а мимо меня — к вечности, к смыслу жизни.

Порою комплекс обидчивости взбрыкивал во мне. Я вставал против кумира. Как-то он позвонил мне и сказал, что ему нравится шрифт на моей машинке, и попросил перепечатать цикл его стихотворений. Естественно! Но для детского самолюбия это показалось обидным — как, он меня за ма-

шинистку считает! Я глупо отказался, сославшись на завтрашний экзамен, что было правдою, но не причиною.

* * *

Пастернак — подросток.

Есть художники, отмеченные постоянными возрастными признаками. Так, в Бунине и совершенно по-иному в Набокове есть четкость ранней осени, они будто всегда сорокалетние. Пастернак же вечный подросток, неслух — «Я создан Богом мучить себя, родных и тех, которых мучить грех». Лишь однажды в стихах в авторской речи он обозначил свой возраст: «Мне четырнадцать лет». Раз и навсегда.

Как застенчив до ослепления он был среди чужих, в толпе, как, напряженно бычась, нагибал шею!..

Однажды он взял меня с собой в Театр Вахтангова на премьеру «Ромео и Джульетты» в его переводе. Я сидел рядом, справа от него. Мое левое плечо, щека, ухо как бы онемели от соседства, как от анестезии. Я глядел на сцену, но все равно видел его — светящийся профиль, челку. Иногда он проборматовывал текст за актером. Постановка была паточная, но Джульеттой была Л.В.Целиковская, Ромео — Ю.П.Любимов, вахтанговский герой-любовник, тогда еще не помышлявший о будущем театре на Таганке. Сцена озарялась чувством, их роман, о котором говорила вся Москва, завершился свадьбой.

Вдруг шпага Ромео ломается, и — о чудо! — конец ее, описав баснословную параболу, падает к ручке нашего с Пастернаком общего кресла. Я нагибаюсь, поднимаю. Мой кумир смеется. Но вот уже аплодисменты, и вне всяких каламбуров зал скандирует: «Автора! Автора!» Смущенного поэта тащат на сцену.

Пирьы были отдохновением. Работал он галерно. Времена были страшные. Слава богу, что переводить давали. Два ме-

сяца в году он работал переводы, «барскую десятину», чтобы можно потом работать на себя. Переводил он по 150 строк в сутки, говоря, что иначе непродуктивно. Корил Цветаеву, которая если переводила, то всего строк по 20 в день.

У него я познакомился также с С.Чиковани, П.Чагиным, С.Макашиным, И.Нонешвили.

Мастер языка, в своей речи он не употреблял скабрёзности и бытового мата. Зато у других восторженно внимал языковой сочности.

Я и непечатным
Словом не побрезговал бы!

Это не краснобайство дистиллированного интеллигента. Сам он в детстве заплатил ясак неподцензурному языку. Вместе с Александром Шпихом, товарищем его школьных забав, они целыми сутками изъяснялись только ненормативно, балдея от свежести открывшегося. Это был их протест против ханжества взрослых — чист, таинственен, «черномаз, как речь сказителя из масс».

Потом он переболел этой речью, как ветрянкой, — как и миллионы других российских детей, как и я, как, вероятно, и вы, мой читатель. Без непосредственности детства, без озарения поэтичностью, это остается только сквернословием.

Но под занавес, затравленный и безоглядный, он полоснул в предсмертном письме, послав на худлитовский адрес своих охамевших приятелей.

Обо всем он говорил чисто и четко. «Андрюша, эти врачи обнаружили у меня полипы в заднем проходе».

Лишь однажды я слышал от него косвенное обозначение термина. Как-то мелочные пуритане напали на меня за то, что я напечатался не в том органе, где бы им хотелось. Тогда

Пастернак рассказал за столом притчу про Фета. В подобной же ситуации Фет будто бы ответил: «Если бы Шмидт (кажется, так именовался самый низкопробный петербургский тогдашний сапожник) выпускал грязный листок, который назывался бы словом из трех букв, я все равно бы там печатался. Стихи очищают».

Как бережен и целомудрен был он! Как-то он дал мне пачку новых стихов, где была «Осень» с тициановской золотой строфой — по чистоте, пронизанности чувством и изобразительности:

Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковой кистью.

(Первоначальный вариант:

Твое распахнутое платье,
Как рощей сброшенные листья...)

Утром он позвонил мне: «Может быть, вам показалось это чересчур откровенным? Зина говорит, что я не должен был давать вам его, говорит, что это слишком вольно...»

Л.К.Чуковская вспоминает, что Ахматова тоже ополчилась против откровенной вольности этих строк, якобы не приличествующей возрасту. Думается, она по-женски ревновала, ревновала к молодой страсти и силе стиха, к его поступкам вне возраста, к роману, к его окружению. Она раздраженно отзывалась о романе.

Пастернак ценил ее ранние книги, к поздним стихам и поэмам относился более чем сдержанно. Он дал мне почитать машинописный экземпляр «Ташкентской поэмы», по-

желтевшие от времени и коричневые, будто сожженные на изгибах страницы. Когда я хотел вернуть ему, он только отмахнулся.

«Ахматова ведь очень образованна и умна, возьмите ее статьи о Пушкине хотя бы, это только кажется, что у нее лишь одна нота», — сказал он мне при первой встрече. Но никогда, нигде, публично или печатно, великие не показывали публике своего человеческого раздражения. Мне больно читать ахматовские упреки в документальных записях Лидии Корнеевны, как больно читать жесткие, документальные страницы, посвященные Анне Андреевне в мемуарах Зинаиды Николаевны.

Для меня Ахматова была Богом. Единственной в этой ипостаси особой женского пола. «Четки» я знал наизусть, но ближе, «моей» была Цветаева. Ее стихи в рукописях, даже не на машинке, а написанные от руки мелким ненаклонным бисерным почерком, давала мне читать Елена Ефимовна Тагер, оставляя на полдня наедине с ними в кабинете. Отношения между богами меня не касались. Со мной общались стихи.

Да и вряд ли Зинаида Николаевна так уж пеклась о моей нравственности. Вероятно, она была не в восторге от белокурого адресата стихов.

Как я понимал его! Я чувствовал себя его сообщником. У меня тогда уже была тайная жизнь.

Знакомство с ним совпало с моей первой любовью.

Она была учительницей английского в нашей школе. Роман наш начался внезапно и обвално. Жила она в общестии на Ордынке. Мы целовались на ночных зимних лавочках, из-под которых выныривали вездесущие третьеклассники и радостно вопили: «Здравствуйте, Елена Сергеевна!»

А как сердце обмирало при молчании в телефонной трубке!

Фантазерка, в прошлом натурщица у Герасимова, что нашла она в неопытном школьнике?

Ты опоздал на десять лет,
Но все-таки тебя мне надо —

читала она мне. И распускала черные косы.

В ней был неосознанный протест против ненавидимого порядка жизни — эти, перехватывающие дух, свидания в темной учительской, любовь казалась нам нашей революцией. Родители были в ужасе, а мы читали с ней «Джаз» Казарновского, ее бывшего приятеля, сгинувшего в лагере. Она притаскивала мне старые номера «Красной нови», которые выбрасывались из школьной библиотеки. Загадочный мир маячил за ней. «Уходить раз и навсегда» — это было ее уроком.

Ей одной я доверил свое знакомство с Пастернаком, дал почитать рукопись «Доктора Живаго». Она подтрунивала над длинными именами-отчествами героев, дразнила меня якобы непониманием. Может быть, она ревновала?

Красивый авантюризм был в ее характере. Она привила мне вкус к риску и театральности жизни. Она стала моей второй тайной жизнью. Первой тайной жизнью был Пастернак.

Как среда обитания поэту необходима тайная жизнь, тайная свобода. Без нее нет поэта.

Поддержка его мне была в самой его судьбе, которая светила рядом. Никогда и в голову мне не могло прийти попросить о чем-то практическом — например, помочь напечататься или что-то в этом же роде. Я был убежден, что в по-

эзию не входят по протекции. Когда я понял, что пришла пора печатать стихи, я, не говоря ему ни слова, пошел по редакциям, как все, без вспомогательных телефонных звонков прошел все предпечатные мытарства. Однажды стихи мои дошли до члена редколлегии толстого журнала. Зовет меня в кабинет. Усаживает — этакая радушная туша, бегемотина. Смотрит влюбленно.

— Вы сын?

— Да, но...

— Никаких «но». Сейчас уже можно. Не таитесь. Он же реабилитирован. Бывали ошибки. Каков был светоч мысли! Сейчас чай принесут. И вы как сын...

— Да, но...

— Никаких «но». Мы даем ваши стихи в номер. Нас поймут правильно. У вас рука мастера, особенно вам удаются приметы нашего атомного века, словечки современные — ну вот, например, вы пишете «кариатиды...» Поздравляю.

(Как я потом понял, он принял меня за сына Н.А.Вознесенского, бывшего председателя Госплана.)

— ...То есть как не сын? Как однофамилец? Что же вы нам голову тут морочите? Приносите чушь всякую вредную. Не позволим. А я все думал — как у такого отца, вернее, не отца... Какого еще чаю?

Но потом как-то напечатался. Первую, пахнущую краской «Литгазету» с подборкой стихов привез ему в Переделкино.

Поэт был болен. Он был в постели. Помню склонившийся над ним скорбный осенний силуэт Елены Тагер. Смуглая голова поэта тяжело вминалась в белую подушку. Ему дали очки. Как просиял он, как заволновался, как затрепетало его лицо! Он прочитал стихи вслух. Видно, он был рад за меня. «Значит, и мои дела не так уж плохи», — вдруг сказал он. Ему из стихов понравилось то, что было

свободно по форме. «Вас, наверное, сейчас разыскивает Асеев», — пошутил он.

Асеев, пылкий Асеев со стремительным вертикальным лицом, похожим на стрелчатую арку, фанатичный, как католический проповедник, с тонкими ядовитыми губами, Асеев «Синих гусар» и «Оксаны», менестрель строек, реформатор рифмы. Он зорко парил над Москвой в своей башне на углу Горького и проезда МХАТа, годами не покидал ее, как Прометей, прикованный к телефону.

Я не встречал человека, который так беззаветно любил бы чужие стихи. Артист, инструмент вкуса, нюха, он, как сухая нервная борзая, за версту чуял строку — так он цепко оценил В.Соснору и Ю.Мориц. Его чтили Цветаева и Мандельштам. Пастернак был его пламенной любовью. Я застал, когда они уже давно разминулись. Как тяжелы размолвки между художниками! Асеев всегда влюбленно и ревниво выводывал — как там «ваш Пастернак»? Тот же говорил о нем отстраненно — «даже у Асеева и то последняя вещь холоднавата». Как-то я принес ему книгу Асеева, он вернул мне ее не читая.

Асеев — катализатор атмосферы, пузырьки в шампанском поэзии.

«Вас, оказывается, величают Андрей Андреевич? Здорово как! Мы все выбивали дубль. Маяковский — Владим Владимыч, я — Николай Николаевич, Бурлюк — Давид Давидыч, Каменский — Василий Васильевич, Крученых...» — «А Борис Леонидович?» — «Исключение лишь подтверждает правило».

Асеев придумал мне кличку — Важнощенский, подарил стихи: «Ваша гитара — гитана, Андрюша», в тяжелое время спас статьей «Как быть с Вознесенским?», направленной против манеры критиков «читать в мыслях». Он рыцарски

отражал в газетах нападки на молодых скульпторов, живописцев.

Будучи в Париже, я раздавал интервью направо и налево. Одно из них попало к Лиле Юрьевне Брик. Она сразу позволила порадовать Асеева.

— Коленька, у Андрюши такой успех в Париже...

Трубка обрадовалась.

— Тут он в интервью о нашей поэзии рассказывает...

Трубка обрадовалась.

— Имена поэтов перечисляет...

— А меня на каком месте?

— Да нет тут, Коленька, вас вообще...

Асеев очень обиделся. Я-то упоминал его, но, вероятно, журналистка знала имя Пастернака, а об Асееве не слыхала и выкинула. Ну как ему это объяснишь?! Еще пуще обидишь.

Произошел разрыв. Он кричал свистящим шепотом: «Ведь вы визировали это интервью! Таков порядок...» Я не только не визировал, а не помнил, в какой газете это было.

После скандала с Хрущевым его уговорил редактор «Правды», и в «Правде» появился его отклик, где он осуждал поэта, «который знакомую поэтессу ставит рядом с Лермонтовым».

Позднее, наверное соскучившись, он позвонил, но мама бросила трубку. Больше мы не виделись.

Он остался для меня в «Синих гусарах», в «Оксане».

В своей панораме «Маяковский начинается» он назвал в большом кругу рядом с именами Хлебникова, Пастернака имя Алексея Крученых.

* * *

Тут в моей рукописи запахло мышами.

Острый носик, дернувшись, заглядывает в мою рукопись. Пастернак остерегал от знакомства с ним. Он появился сразу же после первой моей газетной публикации.

Он был старьевщиком литературы.

Звали его Алексей Елисеич, Кручка, но больше подошло бы ему — Курчонок.

Кожа щек его была детская, в пупырышках, всегда поросшая седой щетинкой, растущей запущенными клочьями, как у плохо опаленного цыплага. Росточка он был дрянного. Одевался в отрепья. Плюшкин бы рядом с ним выглядел завсегдаем модных салонов. Носик его вечно что-то вынюхивал, вышныривал — ну не рукописью, так фотографией какой разжиться. Казалось, он существовал всегда — даже не пузырь земли, нет, плесень времени, оборотень коммунальных свар, упыриных шорохов, паутинных углов. Вы думали — это слой пыли, а он, оказывается, уже час сидит в углу.

Жил он на Кировской в маленькой кладовке. Пахло мышью. Света не было. Единственное окно было до потолка завалено, загажено — рухлядью, тюками, недоеденными консервными банками, вековой пылью, куда он, как белка грибы и ягоды, прятал свои сокровища — книжный антиквариат и списки.

В этом была своя поэзия, мне не доступная тогда. Я понял это лишь сейчас, когда по сравнению с моими завалами его комнатка кажется жилищем аккуратиста.

Бывало, к примеру, спросишь: «Алексей Елисеич, нет ли у вас первого издания «Верст»? — «Отвернитесь», — буркнет. И в пыльное стекло шкафа, словно в зеркало, ты видишь, как он ловко, помолодев, вытаскивает из-под траченного молью пальто драгоценную брошюрку. Брал он копейки. Может, он уже был безумен. Он таскал книги. Его приход считался дурной приметой.

Чтобы жить долго, выходил на улицу, наполнив рот теплым чаем и моченой булкой. Молчал, пока чай остывал, или мычал что-то через нос, прыгал по лужам. Скупал все. Впрок. Клеил в альбомы и продавал в архив. Даже у меня

ухитрился продать черновики, хотя я и не был музейного возраста. Гордился, когда в словаре встречалось слово «заумник».

Он продавал рукописи Хлебникова. Долго расправляя их на столе, разглаживал, как закройщик. «На сколько вам?» — деловито спрашивал. «На три червонца». И быстро, как продавец ткани в магазине, отмерив, отхватывал ножницами кусок рукописи — ровно на тридцать рублей.

В свое время он был Рембо российского футуризма. Создатель заумного языка, автор «Дыр бул щыл», поэт Божьей милостью, он внезапно бросил писать вообще, не сумев или не желая приспособиться к наступившей поре классицизма. Когда-то и Рембо примерно в том же возрасте так же вдруг бросил поэзию и стал торговцем. У Крученых были строки:

Забыл повеситься
Лечу
Америку

Образования он был отменного, страницами наизусть мог говорить из Гоголя, этого заповедного кладезя футуристов.

Как замшелый дух, вкрадчивый упырь, он тишайше проникал в вашу квартиру. Бабушка подозрительно поджимала губы. Он слезился, попрошайничал и вдруг, если соблаговолит, верещал вам свою «Весну с угошеньцем». Вещь эта, вся речь ее с редкими для русского языка звуками «х», «щ», «ю», «была отмечена весной, когда в уродстве бродит красота».

Но сначала он, понятно, отнекивается, ворчит, придуряется, хрюкает, притворяшка, трет зачем-то глаза платком допотопной девственности, похожим на промасленные концы, которыми водители протирают двигатель.

Но вот взгляд протерт — оказывается, он жемчужно-се-

рый, синий даже! Он напрягается, подпрыгивает, как пушкинский петушок, приставляет ладонь ребром к губам, как петушиный гребешок, напрягается ладошка, и начинает. Голос у него открывается высокий, с таким неземным чистым тоном, к которому тщетно стремятся солисты теперешних поп-ансамблей.

«Ю-юйца!» — зачинает он, у вас слюнки текут, вы видите эти, как юла, крутящиеся на скатерти крашенные пасхальные яйца. «Хлюстра», — прохрюкивает он вслед, подражая скользкому звону хрусталя. «Зухрр», — не унимается зазывала, и у вас тянет во рту, хрупает от засахаренной хурмы, орехов, зеленого рахат-лукума и прочих сладостей Востока, но главное — впереди. Голосом высочайшей муки и сладострастия, изнемогая, становясь на цыпочки и сложив губы как для свиста и поцелуя, он произносит на тончайшей бриллиантовой ноте: «Мизюнь, мизюнь!..» Все в этом «мизюнь» — и юные барышни с оттопыренным мизинчиком, церемонно берушие изюм из изящных вазочек, и обольстительная весенняя мелодия Мизгирия и Снегурочки, и, наконец, та самая щемящая нота российской души и жизни, нота тяги, утраченных иллюзий, что отозвалась в Лике Мизиновой и в «Доме с мезонином», — этот всей несбывшейся жизнью выдохнутый зов: «Мисюсь, где ты?»

Он замирает, не отнимая ладони от губ, как бы ожидая отзыва юности своей, — стройный, вновь сероглазый принц, вновь утренний рожок российского футуризма — Алексей Елисеевич Крученых.

Он прикидывался барыгой, воришкой, спекулянтom. Но одного он не продал — своей ноты в поэзии. Он просто перестал писать. Поэзия дружила лишь с его юной порой. С ней одной он остался чист и честен.

Мизюнь, где ты?

Почему поэты умирают?

Почему началась Первая мировая война? Эрцгерцога хлопнули? А не шлепнули бы? А проспал бы? Не началась бы? Увы, случайностей нет, есть процессы Времени и Истории.

«Гений умирает вовремя», — сказал его учитель Скрябин, погибший, потому что прыщик на губе сковырнул. Про Пастернака будто бы Сталин сказал: «Не трогайте этого юридического».

Может быть, дело в биологии духа, которая у Пастернака совпала со временем и была тому необходима?..

В те дни — а вы их видели
И помните, в какие, —
Я был из ряда выделен
Волной самой стихии.

Пастернак встретился с Мандельштамом у гроба Ленина. Мое юношеское восприятие Ленина копировало отношение к нему Пастернака. Поэзия выражает иллюзии народа. Мы знаем исторического садиста, в животном восторге, самолично рубившего головы стрельцам, но верим мы пушкинскому образу.

Про Сталина он как-то сказал: «Я не раз обращался к нему, и он всегда выполнял мои просьбы». Вероятно, речь шла о репрессированных. Однажды за столом он пересказал телефонный диалог о Мандельштаме, про который злорадно судило околотитературное болото. Сталин позвонил ему поздно ночью. Разговаривать пришлось из коммунального коридора. Трубка спросила: «Как вы расцениваете Мандельштама как поэта?» Пастернак был искренен, он ответил положительно, хоть и не восторженно. Трубка сказала: «Если бы моего товарища арестовали, я стал бы его защищать». —

«Но его же арестовали не за качество стихов, — начал поэт, — а вообще арестовывать — это...» В Кремле повесили трубку, Пастернак пытался соединиться — тщетно. Наутро он бросился к Бухарину, который был тогда редактором «Известий», хлопотать за Мандельштама. Сталина он называл «гигантом дохристианской эры», то есть ассирийским рябым деспотом.

Сталин лежал в Колонном зале.

Центр был оцеплен грузовиками и солдатами. Нам, студентам Архитектурного, выдали пропуска до Рождественки, где находился институт. Я присоединился к группе ребят, и мы по крышам, через Кузнецкий Мост пробирались к Колонному. Из репродукторов доносились траурные и кавалерийские марши, стихи Твардовского и Симонова, лживые речи вождей. Внизу колыхались заплаканные толпы, рыдала осиротевшая империя. Наши лица и руки были красными, словно ошпаренные кипятком. На Пушкинской мы прыгали в толпу, и она сжимала нас, не дав разбиться. Пуговицы моего пальто были оборваны, шапку я потерял.

Внутри Колонного зала меня поразило обилие знамен, венков, мундиров. Среди них совсем незаметно лежало сухонькое тело. Топорщя усы, он лежал на спинке, подобно жуку, скрестившему лапки на груди. Есть такая порода жуков — «притворяшка-вор», который прикидывается умершим, а потом — как прыгнет!

Я отогнал от себя это кошунственное сравнение.

Потом, пытаясь хоть что-то понять, я напишу:

И торжественно над страную,
словно птица хищной красоты,
плыли с красною бахромою
государственные усы.

Потом я услышал фразу, сказанную Пастернаком: «Раньше нами правил безумец и убийца, а теперь — дурак и свинья». Эта фраза пригасила свойственное моим сверстникам восторженное отношение к Хрущеву. На моих глазах по его приказу оболгали и назвали врагом Родины поэта кристальной чистоты. «Даже свинья не гадит там, где ест, в отличие от Пастернака» — таково было историческое высказывание Генсека, озвученное на всю страну Семичастным.

Теперь бывший оратор раскрыл уровень свинарника, в котором родилась эта «свинья»: «Я помню, нас пригласили к Хрущеву в Кремль накануне Пленума. Меня, Аджубея. Там был и Сулов. И Хрущев сказал: «В докладе надо Пастернака проработать. Давайте сейчас мы наговорим, а вы потом отредактируете, Сулов посмотрит — и давай завтра...» Надиктовал Хрущев две странички. Конечно, с его резкой позицией о том, что даже свинья не позволяет себе гадить...» Там такая фраза еще была: «Я думаю, что Советское правительство не будет возражать против, э-э, того, чтобы Пастернак, если ему так хочется дышать свободным воздухом, покинул пределы нашей Родины». «Ты произнесешь, а мы поаплодируем. Все поймут».

Поэт и это предвидел:

И каждый день приносят тупо,
Так что и вправду невтерпех,
Фотографические группы
Сплошных свиноподобных рож.

* * *

У меня с ним был разговор о «Метели». Вы помните это? «В посадке, куда ни одна нога не ступала...» Потом строчка передвигается: «В посадке, куда ни одна...» — и так далее, со-

здавая полное ощущение движения снежных змей, движение снега. За ней движется Время.

Он сказал, что формальная задача — это «суп из топора». Потом о ней забываешь. Но «топор» должен быть. Ты ставишь себе задачу, и она выделяет что-то иное, энергию силы, которая достигает уже не задачи формы, а духа и иных задач.

Форма — это ветровой винт, закручивающий воздух, вселенную, если хотите, называйте это духом. И винт должен быть крепок, точен.

У Пастернака нет плохих стихов. Ну, может быть, десяток менее удачных, но плохих — нет. Как он отличен от стихотворцев, порой входящих в литературу с одной-двумя пристойными вещами среди всего серого потока своих посредственных стихов. Он был прав: зачем писать худо, когда можно написать точно, то есть хорошо? И здесь дело не только в торжестве формы, как будто не жизнь, не божество, не содержание и есть форма стиха! «Книга — кубический кусок дымящейся совести», — обмолвился он когда-то. Особенно это заметно в его «Избранном». Порой некоторый читатель даже устает от духовной напряженности каждой вещи. Читать трудно, а каково писать ему было, жить этим! Такое же ощущение от Цветаевой, таков их пульс был.

В стихах его «сервиз» рифмуется с «положением риз». Так рифмовала жизнь — в ней все смешалось.

В квартиру нашу были, как в компотник,
Набуханы продукты разных сфер:
Швея, студент, ответственный работник...

В детстве наша семья из пяти человек жила в одной комнате. В остальных пяти комнатах квартиры жило еще шесть семей — семья рабочих, приехавшая с нефтепромыслов, воз-

главляемая языкастой Прасковьей, аристократическая рослая семья Неклюдовых из семи человек и овчарки Багиры, семья инженера Ферапонтова, пышная радушная дочь бывшего купца и разведенные муж и жена. Коммуналка наша считалась малонаселенной.

В коридоре сушились простыни.

У дровяной плиты среди кухонных баталий вздрагивали над керосинкой фамильные серьги Муси Неклюдовой. В туалете разведенный муж свистал «Баядеру», возмущая очередь. В этом мире я родился, был счастлив и иного не представлял.

Сам он до тридцать шестого года, до двухэтажной квартиры в Лаврушинском, жил в коммуналке. Ванную комнату занимала отдельная семья, ночью, идя в туалет, шагали через спящих.

Ах, как сочно рифмуется керосиновый свет «ламп Светлана» с «годами строительного плана»!

* * *

Все это было в его небольшой изумрудной тетрадке стихов с багровой шнуровкой. Все его вещи той поры были перепечатаны Мариной Казимировной Баранович, прокуренным ангелом его рукописей. Жила она около Консерватории, бегала на все скрябинские программы, и как дыхание клавиш отличает рихтеровского Скрябина от нейгаузовского, так и клавиатура ее машинки имела свой неповторимый почерк. Она переплетала стихи в глянцевые оранжевые, изумрудные и крапlachно-красные тетрадки и прошивала их шелковым шнурком. Откроем эту тетрадь, мой читатель. В ней колдовало детство.

Еще кругом ночная мгла.

Такая рань на свете.

Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетье...

А в городе на небольшом
Пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решетки...

Видите ли вы, мой читатель, мальчика со школьным ранцем, следящего обряд весны, ее предчувствие? Все, что совершается вокруг, так похоже на происходящее внутри него.

И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград...
Они хоронят Бога.

Такая рань, такое ошеломленное ощущение детства, память гимназиста предреволюционной Москвы, когда все полно тайны, когда за каждым углом подстерегает чудо, деревья одушевлены и ты причастен к вербной ворожбе. Какое ощущение детства человечества на грани язычества и предвкушении уже иных истин!

Стихи эти, написанные от руки, он дал мне с другими, сброшюрованными этой же багровой шелковой шнуровкой. Все в них околдовывало. В нем тогда царствовала осень:

Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.

В ту пору я мечтал попасть в Архитектурный, ходил в рисовальные классы, акварелил, был весь во власти таинства живописи. В Москве тогда гостила Дрезденская галерея. Прежде чем возвратиться в Дрезден, ее выставили в Музее имени Пушкина. Волхонка была запружена. Любимицей зрителей стала «Сикстинская мадонна».

Помню, как столбенел я в зале среди толпы перед парящим абрисом. Темный фон за фигурой состоит из многих слившихся ангелков, зритель не сразу замечает их. Сотни зрительских лиц, как в зеркале, отражались в темном стекле картины. Вы видели и очертания мадонны, и рожицы ангелов, и накладывающиеся на них внимательные лица публики. Лица москвичей входили в картину, заполняли ее, сливались, становились частью шедевра.

Никогда, наверное, «Мадонна» не видела такой толпы. «Сикстинка» становилась масскультурой. Вместе с нею прелестная «Шоколадница» с подносиком, выпорхнув из пастели, на клеенках и репродукциях обожала города и веси нашей страны. «Пьяный силён!» — восхищенно выдохнул за моей спиной посетитель выставки у картины «Пьяный Силен».

Москва была потрясена духовной и живописной мощью Рембрандта, Кранаха, Вермейера. «Блудный сын», «Тайная вечеря» входили в повседневный обиход. Мировая живопись и с нею духовная мощь ее понятий одновременно распахнулись сотням тысяч москвичей.

Стихи Пастернака из тетради с шелковым шнурком говорили о том же, о тех же вечных темах — о человечности, откровении, жизни, покаянии, смерти, самоотдаче.

Все мысли веков, все мечты, все миры.
Все будущее галерей и музеев...

Теми же великими вопросами мучились Микеланджело, Врубель, Матисс, Нестеров, беря для своих полотен метафоры Ветхого и Нового Завета. Как и у них, решение этих тем в стихах отнюдь не было модернистским, как у Сальвадора Дали, скажем. Мастер работал суровой кистью реалиста, в классически сдержанной гамме. Как и Брейгель, рождественское пространство которого заселено голландскими крестьянами, поэт свои фрески заполнил предметами окружающего его быта и обихода. И в центре всех повествований мой разум ставил его фигуру, его судьбу.

Какая русская, московская даже, чистопрудная, у него Магдалина, омывающая из ведерка стопы возлюбленного тела!

Жила она у Чистых прудов. Звали ее Ольга Всеволодовна. Он называл ее Люся. Очень женские воспоминания ее «У времени в плену» пронзительно повествуют о последней любви поэта и его трагической судьбе.

Мне всегда его Магдалина виделась русоволосой, блондинкой по-нашему, с прямыми рассыпчатыми волосами до локтей. Я знал ее, красивую, статную, с восторженно-смеющимися зрачками.

А какой вещий знаток женского сердца написал следующую строфу:

Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста.

Конечно, о себе он писал предвидя судьбу. Какой выстраданный вздох катастрофы! Какая восхищенная печаль в ней, боль расставания, понимание людского несовершенства в разумении жеста мироздания, какая гордость за высокое предназначение близкого человека и одновременно обмол-

вившаяся, проговорившаяся, выдавшая себя женская ревность к тому, кто раздаст себя людям, а не только ей, ей одной...

Художник пишет жизнь, пишет окружающих, близких своих, лишь через них постигая смысл мироздания. Сангиной, материалом для письма служит ему своя жизнь, единственное свое существование, опыт, поступки — другого материала он не имеет.

Из всех черт, источников и загадок Пастернака детство — серьезнейшая.

О детство! Ковш душевной глуби!
О всех лесов абориген!
Корнями вросший в самолюбье,
Мой вдохновитель, мой регент!..

И «Сестра моя — жизнь» и «Девятьсот пятый год» — это прежде всего безоглядная первичность чувства, исповедь детства, бунт, ощущение мира в первый раз. Как ребенка, вырвавшегося из-под опеки взрослых, он любил Лермонтова, посвятил ему лучшую свою книгу.

Уместно говорить о стиховом потоке его жизни. В нем, этом стиховом потоке, сказанное однажды не раз повторяется, обретает второе рождение, вновь и вновь аукается детство, сквозь суровые фрески проступают цитаты из его прежних стихов.

Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.
Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Все великолепье цветной мишуры...
...Все злей и свирепей дул ветер из степи...
...Все яблоки, все золотые шары...

Сравните это с живописным кружащимся ритмом его «Вальса с чертовщиной» или «Вальса со слезой», этих задыхающихся хороводов ребячьей поры:

Великолепие выше сил
Туши, и сепии, и белил...
Финики, книги, игры, нуга,
Иглы, ковриги, скачки, бега.
В этой зловещей сладкой тайге
Люди и вещи на равной ноге.

Помню встречу Нового года у него в Лаврушинском. Пастернак сиял среди гостей. Он был и елкой и ребенком одновременно. Хвойным треугольником сдвигались брови Нейгауза. Старший сын Женя, еще храня офицерскую стройность, выходил, как из зеркала, из стенного портрета кисти его матери, художницы Е.Пастернак.

Квартира имела выход на крышу, к звездам. Опасаться можно было всякого: кинжал на стене предназначался не только для украшения, но и для самозащиты.

Стихи сохраняли вещное и вещнее головокружительное таинство праздника, скрябинский прелюдный фейерверк.

Лампы задули, сдвинули стулья...
Масок и ряженных движется улей...
Реянье блузок, пенье дверей,
Рев карапузов, смех матерей...
И возникающий в форточной раме
Дух сквозняка, задувающий пламя...

В елке всегда предощущение чуда. Именно на елке стреляет в своего совратителя юная пастернаковская героиня. «Признайтесь, Андрюша, вам хотелось бы, чтобы она стре-

ляла по другой причине, чтобы она политической была», — поддразнивал он меня при гостях.

Дней рождения своих он не праздновал. Считал их датами траура. Не признавал юбилеев. В свое время отказался от юбилейного ордена и чествования в Большом театре. И даже потом запрещал поздравлять. Я исхитрялся приносить ему цветы накануне или днем позже, 9-го или 11-го, не нарушая буквы запрета. Хотел хоть чем-то утешить его.

Я приносил ему белые и алые цикламены, а иногда лиловые столбцы гиацинтов. Они дрожали, как резные — в крестиках — бокалы лилового хрусталя. В институте меня хватало на живой куст сирени в горшке. Как счастлив был, как сиял Пастернак, раздев бумагу, увидев стройный куст в белых гроздьях. Он обожал сирень и прощал мне ежегодную хитрость.

И наконец, каков был ужас моих родителей, когда я, обезьяня, отказался от своего дня рождения и подарков, спокойно заявив, что считаю этот день траурным и что жизнь не сложилась. С тех пор я не справляю свои дни рождения. Всегда убегаю, прячусь в Суздаль или куда-нибудь еще. «Когда стране твоей горестно, позорно иметь успех», — подхватывал мои строчки Высоцкий.

С деньгами на подарок ему было у меня в ту пору, конечно, туго, но я не мог просить у родителей, а зарабатывал сам. В то время я увлекся фотографией. Ходил в кружок Дома ученых. Я решил сделать его большой портрет. С помощью руководительницы кружка мы произвели увеличение. Отретушировали. Причем самые ответственные места — губы, ресницы, галстук — отретушировала она сама. Боже мой, какой ужасный это был портрет! Отшлифованный красавец. Похожий на коврики с лебедями, которые продавали на рынке. Плюс паспарту фасона пятидесятых годов и окантов-

ка из дерматина. Но что было делать — день рождения наступил.

Я нес со станции по метельной дороге завернутый в бумагу портрет. Мороз жег мне руки. «Андрюша, еще не поздно, вернись, не позорься!»

Но вот он уже разворачивает мокрую бумагу. И восторженно гудит: «Это прекрасно. Это похоже на грузинские примитивы, на Пиросмани». Его реакция не была вежливым комплиментом. Через несколько дней я увидел мой портрет, повешенный им над его дверью. Он и сейчас висит там же, став музейным экспонатом. Вторую его копию, сотворенную нами для подстраховки, я повесил в своем кабинете.

...Все злей и свирепей дул ветер из степи...

Все яблоки, все золотые шары...

Наивно, когда пытаются заслонить поздней манерой Пастернака вещи его раннего и зрелого периодов. Наивно, когда, восхищаясь поздним Заболоцким, сломав ему хребет, зачеркивают «Столбцы». Но без них невозможен аметистовый звон его «Можжевельного куста». Одно прорастает из другого. Без стогов «Степи» мы не имели бы стогов «Рождественской звезды».

* * *

Не раз в стихах той поры он обращался к образу смоковницы. На память приходит пастернаковский набросок, посвященный Лиле Харазовой, погибшей в 20-е годы от тифа. Он есть в архиве грузинского критика Г.Маргвелашвили.

«Под посредственностью обычно понимают людей рядовых и обыкновенных. Между тем обыкновенность есть живое качество, идущее изнутри и во многом, как это ни странно, отдаленно подобное дарованию. Всего обыкновенно»

веннее люди гениальные... И еще обыкновеннее, захватывающе обыкновенна — природа. Необыкновенна только посредственность, то есть та категория людей, которую составляет так называемый «интересный человек». С древнейших времен он гнушался делом и паразитировал на гениальности, понимая ее как какую-то *лестную исключительность*, между тем как гениальность есть предельная и порывистая, воодушевленная собственной бесконечностью *правильность*».

Позже он повторил это в своей речи на пленуме правления СП в Минске в 1936 году.

Вы слышите? «Как захватывающе обыкновенна — природа». Как обыкновенен он был в своей жизни, как истинно соловьино интеллигентен в противовес пустоцветности; нетворческому купеческому выламыванию — скромно одетый, скромно живший, незаметно, как соловей.

Люди пошлые не понимают жизни и поступков поэта, истолковывая их в низкоземном, чаще своекорыстном значении. Они подставляют понятные им категории — желание стать известнее, нажиться, насолить собрату. Между тем как единственное, о чем печалится и молит судьбу поэт, это не потерять способности писать, то есть чувствовать, способности слиться с музыкой мироздания. Этим никто не может наградить, никто не может лишить этого.

Она, эта способность, нужна поэту не как источник успеха или благополучия и не как вождение пером по бумаге, а как единственная связь его с мирозданием, мировым духом — как выразились бы раньше, единственный сигнал туда и оттуда, объективный знак того, что его жизнь, ее земной отрезок, идет правильно.

В миг, когда дыханьем сплава
В слово сплочены слова!

Путь не всегда понятен самому поэту. Он прислушивается к высшим позывным, которые, как летчику, диктуют его маршрут. Я не пытаюсь ничего истолковывать в его пути: просто пишу, что видел, как читалось написанное им.

Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды...

Его не понимали. Он обиженно гудел: «Вчера Костя Федин, вернув мой роман, сказал: «У тебя все написано сумасшедшим языком. Что же, Россия, по-твоему, сумасшедший дом?!» Я ответил: «У тебя все написано бездарным языком. Что же, Россия — бездарность?»

В другой раз смущенно рассказывал, что встретил на дорожке в сумерках одного бесчестного критика и обнял его, приняв за другого. «Потом я перед ним, конечно, извинился за то, что поздоровался по ошибке...»

Тпр-р! Ну, вот и запруда. Приехали. И берег пруда. И ели сваленной бревно. Это все цитаты из его «Нобелевской премии».

Что же сделал я за пакость,
Я, убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

Он до сих пор остается для меня Нобелевским лауреатом. Ведь письмо об отказе, созданное под давлением, было написано не им, а его близкими. Он вставил лишь одну фразу.

Да и что для художника премия? Главной наградой ему были способность писать и признание этого леса, людей, его земли.

Сегодня через заборчик я вижу, как вереница паломников тянется к музею. Сто тысяч за пять лет. Стараниями Натальи Анисимовны Пастернак в дом вернулся уют Большой дачи.

Ставил ли он мне голос?

Он просто говорил, что ему нравится и почему. Так, например, он долго пояснял мне смысл строки: «Вас за плечи держали ручки эполетов». Помимо точности образа он хотел от стихов дыхания, напряжения времени, сверхзадачи, того, что он называл «сила».

Меня ошеломили опубликованные недавно любовные письма Пастернака к жене:

«Зинуша, ничто не сравнится с тобой на свете... все на свете вздор против тебя, милой, чистой, беспримерной...» Как близорук я был, как по-мальчишески видел в ней лишь хозяйку большой дачи. А вот последнее его письмо к ней из Переделкина в Цхалтубо: «Были Ливановы, художник Верейский с женой и режиссер театра им. Ермоловой П.Васильев. Андрюша с успехом читал свои стихи. Читал и я. Выпили...»

Комментарий к этому письму констатирует: «В семейном архиве Пастернака сохранились письма и юношеские стихи Вознесенского с пометами Пастернака. По замечаниям Пастернака Вознесенский работал над своими юношескими стихами, предлагая на суд Пастернака все новые варианты. Пастернак завел для них особую папку, на которой написал: «Андрюшины стихи».

Оказывается, он хранил мои тетрадки и письма, на полях стихов были его карандашные пометки. Видно, он готовился

к разговору. Я не подозревал об этом. Так бережно он относился даже к мальчишке.

Его поощрительный крестик награждал строфу:

Вас за плечи держали
ручищи эполетов!
Вы рвались и дерзали,
гусары и поэты...

Геннадий Айги недавно рассказал мне, что Борис Леонидович советовал ему отыскать меня и помогать друг другу, пробиваясь в литературу. Я не знал об этом завете, но всегда упоминал и хвалил Айги, где только можно. Будто чувствовал.

Долгое время никто из современников не существовал для меня. Смешны были градации между ними. Он — и все остальные.

Сам же он чтит Заболоцкого. Будучи членом правления СП, он спас в свое время от разноса «Страну Муравию». Твардовского он считал крупнейшим поэтом, чем отучил меня от школьного нигилизма.

Трудно было не попасть в его силовое поле.

Однажды после студенческих военных летних лагерей я принес ему тетрадь новых стихов. Тогда он готовил свое «Избранное». Он переделывал стихи, ополчался против ранней своей раскованной манеры, отбирал лишь то, что ему теперь было близко.

Про мои стихи он сказал: «Здесь есть раскованность и образность, но они по эту сторону грани, если бы они были моими, я бы включил их в свой сборник».

Я просиял.

Сам Пастернак взял бы их! А пришел домой — решил бросить писать. Ведь он бы взял их в свой, значит, они не

мои, а его. Два года не писал. Потом пошли «Гойя» и другие, уже мои. «Гойю» много ругали, было несколько разносных статей. Самым мягким ярлыком был «формализм».

Для меня же «Гойя» звучало — «война».

* * *

В эвакуации мы жили за Уралом.

Хозяин дома, который пустил нас, Константин Харитонович, машинист на пенсии, сухонький, шустрый, застенчивый когда выпьет, некогда увез у своего брата жену, необъятную сибирячку Анну Ивановну. Поэтому они и жили в глуши, так и не расписавшись, опасаясь грозного мстителя.

Жилось нам туго. Все, что привезли, сменяли на продукты. Отец был в ленинградской блокаде. Говорили, что он ранен. Мать, приходя с работы, плакала. И вдруг отец возвращается — худющий, небритый, в черной гимнастерке и с брезентовым рюкзаком.

Хозяин, торжественный и смущенный более обычного, поднес на подносе два стаканчика с водкой и два ломтика черного хлеба с белыми квадратиками нарезанного сала — «со спасеньцем». Отец хлопнул водку, обтер губы тыльной стороной ладони, поблагодарствовал, а сало отдал нам.

Потом мы шли смотреть, что в рюкзаке. Там была тускло-желтая банка американской тушенки и книга художника под названием «Гойя».

Я ничего об этом художнике не знал. Но в книге расстреливали партизан, мотались тела повешенных, корчилась война. Об этом же ежедневно говорил на кухне черный бумажный репродуктор. Отец с этой книгой летел через линию фронта. Все это связалось в одно страшное имя — Гойя.

Гойя — так гудели эвакуационные поезда великого переселения народа, Гойя — так стонали сирены и бомбы перед

нашим отъездом из Москвы, Гойя — так выли волки за деревней, Гойя — так причитала соседка, получив похоронку. Гойя...

Эта музыка памяти записалась в стихи, первые мои стихи. Конечно, в стихах записался и иной гул, и праязык, и моя будущая судьба — но канва все равно была из детских впечатлений.

* * *

Из-за перелома ноги в Прикамье Пастернак не участвовал в войнах. Но добровольно ездил на фронт, был потрясен народной стихией тех лет. Хотел написать пьесу о Зое Космодемьянской, о школьнице, о войне.

И так как с малых детских лет
Я ранен женской долей...

Отношение к женщине у него было и мужским и юношеским одновременно. Такое же отношение у него было к Грузии.

Он собирал материал для романа о Грузии с героиней Ниной, периода первых христиан, когда поклонение богу Луны органически переходило в обряды новой культуры.

Как чувственны и природны грузинские обряды! По преданию, святая Нина, чтобы изготовить первый крест, сложила крест-накрест две виноградные лозы и перевязала их своими длинными срезанными волосами.

В нем самом пантеистическая культура ранней поры переходила в строгую духовность поздней культуры. Как и в жизни, эти две культуры соседствовали в нем.

В его переписке с грузинской школьницей Чукой, дочкой Ладо Гудиашвили, просвечивает влюбленность, близость и доверие к ее миру. До сих пор в мастерской Гудиашвили под

стеклом, как реликвия в музее, поблескивает золотая кофейная чашечка, которой касались губы поэта.

Он любил эти увешанные холстами залы с багратионовским паркетом, где высокий белоголовый художник, невесомый, как сноп света, бродил от картины к картине. Холсты освещались, когда он проходил.

Он скользил по ним, как улыбка.

Выполненный им в молнийном графике лик Пастернака на стене приобретал грузинские черты.

Грузинскую культуру я получил из его рук. Первым поэтом, с которым он познакомил меня, был Симон Иванович Чиковани. Это случилось еще на Лаврушинском. Меня поразил тайный огонь в этом тихом человеке со впалыми щеками над будничным двубортным пиджаком. Борис Леонидович восторженно гудел об его импрессионизме — впрочем, импрессионизм для него обозначал свое, им самим обозначенное понятие — туда входили и Шопен и Верлен. Я глядел на двух влюбленных друг в друга артистов. Разговор между ними был порой непонятен мне — то была речь посвященных, служителей высокого ордена. Я присутствовал при таинстве, где грузинские имена и термины казались символами недоступного мне обряда.

Потом он попросил меня читать стихи. Ах, эти рифмы детства...

На звон трамваев, одурев,
облокотились облака.

«Одурев» — было явно из пастернаковского арсенала, но ему понравилось не это, а то, что облака — облокотились. В детских строчках он различил за звуковым — зрительное. Симон Иванович сжимал тонкие бледные губы и, причмоки-

вая языком, задержался на строке, в которой мелькнула девушка и где

...к облакам
мольбою вскинутый балкон.

Таково было мое первое публичное обсуждение. Тогда впервые кто-то третий присутствовал при его беседах со мною.

Верный убиенным Паоло и Тициану, он и меня приобщил к переводам. Для меня первым переводимым поэтом был Иосиф Нонешвили. И Грузия руками Нонешвили положила в день похорон цветы на гроб Пастернака.

Несколько раз, спохватившись, я пробовал начинать дневник. Но каждый раз при моей неорганизованности меня хватало ненадолго. До сих пор себе не могу простить этого. Да и эти скоропалительные записи пропали в суматохе постоянных переездов. Недавно мои домашние, разбираясь в хламе бумаг, нашли тетрадку с дневником нескольких дней.

Чтобы хоть как-то передать волнение его голоса, поток его живой ежедневной речи, приведу наугад несколько кусков его монологов, как я записал их тогда в моем юношеском дневнике, ничего не исправляя, опустив лишь детали личного плана. Говорил он навзрыд.

* * *

Вот он говорил 18 августа пятьдесят третьего года на скамейке в скверике у Третьяковки. Я вернулся тогда после летней практики, и он в первый раз прочитал мне «Белую ночь», «Август», «Сказку» — все вещи этого цикла.

— Вы долго ждете? — я ехал из другого района — такси не было — вот «пикапчик» подвез — расскажу о себе — вы знаете я в Переделкине рано — весна ранняя бурная странная —

деревья еще не имеют листьев а уже расцвели — соловьи начали — это кажется банально — но мне захотелось как-то посвоему об этом рассказать — и вот несколько набросков — правда это еще слишком сухо — как карандашом твердым — но потом надо переписать заново — и Гете — было в «Фаусте» несколько мест таких непонятных мне склерозных — идет идет кровь потом деревенеет — закупорка — кх-кх — и оборвется — таких мест восемь в «Фаусте» — и вдруг летом все открылось — единым потоком — как раньше когда «Сестра моя — жизнь» «Второе рождение» «Охранная грамота» — ночью вставал — ощущение силы даже здоровый никогда бы не поверил что можно так работать — пошли стихи — правда Марина Казимировна говорит что нельзя после инфаркта — а другие говорят это как лекарство — ну вы не волнуйтесь — я вам почитаю — слушайте —

А вот телефонный разговор через неделю:

— Мне мысль пришла — может быть в переводе Пастернак лучше звучит — второстепенное уничтожается переводом — «Сестра моя — жизнь» первый крик — вдруг как будто сорвало крышу — заговорили камни — вещи приобрели символичность — тогда не все понимали сущность этих стихов — теперь вещи называются своими именами — так вот о переводах — раньше когда я писал и были у меня сложные рифмы и ритмика — переводы не удавались — они были плохие — в переводах не нужна сила форм — легкость нужна — чтобы донести смысл — содержание — почему слабым считался перевод Холодковского — потому что привыкли что этой формой писались плохие и переводные и оригинальные вещи — мой перевод естественный — как прекрасно издан «Фауст» — обычно книги кричат — я клей! — я бумага! — я нитка! — а здесь все идеально — прекрасные иллюстрации Гончарова — вам ее подарю — надпись уже готова — как ваш проект? — пришло письмо от Завадского — хочет «Фауста» ставить —

— Теперь честно скажите — «Разлука» хуже других? — нет? — я заслуживаю вашего хорошего отношения но скажите прямо — ну да в «Спекторском» то же самое — ведь революция та же была — вот тут Стасик — он приехал с женой — у него бессонница и что-то с желудком — а «Сказка» вам не напоминает чуковского крокодила? —

— Хочу написать стихи о русских провинциальных городах — типа навязчивого мотива «города» и «баллад» — свет из окна на снег — встают и так далее — рифмы такие де лярю — служили царю — потом октябрю — получится очень хорошо — сейчас много пишу — вчерне все — потом буду отделять — так как в самые времена подъема — поддразнивая себя прелестью отдельных кусков —

Насколько знаю, стихи эти так и не были написаны.

* * *

Часто в выборе вариантов он полагался на случай, наобум советовался. Любил приводить в пример Шопена, который, запутавшись в вариантах, проигрывал их своей кухарке и оставлял тот, который ей нравился. Он апеллировал к случаю.

Кого-то из его друзей смутила двойная метафора в строфе:

И как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывут из темноты.

Он исправил: «...неустанно столетия поплывут из темноты...»

Я просил его оставить первозданное. Видно, он и сам был склонен к этому, — он восстановил строку. Уговорить сделать что-то против его воли было невозможно.

Стихи «Свадьба» были написаны им в Переделкине. Со

второго этажа своей башни он услышал частушечный перебор, донесшийся из сторожки. В стихи он привнес черты гордского пейзажа.

Гости, дружки, шафера
С ночи на гулянку
В дом невесты до утра
Забрели с тальянкой...
Сваха павой проплыла,
Поводя боками...

На другой день позвонил мне. «Так вот, я Анне Андреевне объяснял, как зарождаются стихи. Меня разбудила свадьба. Я знал, что это что-то хорошее, мысленно перенесся туда, к ним, а утром действительно оказалась — свадьба» (цитирую по дневнику). Он спросил, что я думаю о стихах. В них плеснулась свежесть сизого утра, молодость ритма. Но мне, студенту 50-х, казались чужими, архаичными слова «сваха», «дружки»; «шафера» аукались с «шофера». Вероятно, я лишь подтвердил его собственные сомнения. Он по телефону продиктовал мне другой вариант. «Теперь насчет того, что вы говорите — старомодно. Записывайте. Нет, погодите, мы и сваху сейчас уберем. В смысле шаферов даже лучше станет, так как место конкретнее обозначится: «Пересекши глубь двора...»

Может быть, он импровизировал по телефону, может быть, вспомнил черновой вариант. В таком виде эти стихи и были напечатаны. Помню у редактора вызвала опасения строка: «Жизнь ведь тоже только миг... только сон...»

* * *

В первую нашу встречу он дал мне билет в ВТО, где ему предстояло читать перевод «Фауста». Это было его последнее публичное чтение.

Сначала он стоял в группе, окруженный темными костюмами и платьями, его серый проглядывал сквозь них, как смущенный просвет северного неба сквозь стволы деревьев. Его выдавало сиянье.

Потом стремительно сел к столу. Председательствовал М.М.Морозов, тучный, выросший из серовского курчавого мальчугана, — Мика Морозов. Пастернак читал сидя, в очках. Замирали золотые локоны поклонниц. Кто-то конспектировал. Кто-то выкрикнул с места, прося прочесть «Кухню ведьм», где, как известно, в перевод были введены подлинные тексты колдовских наговоров. В Веймаре в архиве можно видеть, как масон и мыслитель Гете изучал труды по кабалистике, алхимии и черной магии.

Пастернак отказался читать «Кухню». Он читал места пронзительные.

Им не услышать следующих песен,
Кому я предыдущие читал...
Непосвященных голос легковесен,
И, признаюсь, мне страшно их похвал,
И прежние ценители и судьи
Рассеялись, кто где, среди безлюдья.

Его скулы подрагивали, словно треугольные остовы крыльев, плотно прижатые перед взмахом.

Вы снова здесь, изменчивые тени,
Меня тревожившие с давних пор.
Найдется ль наконец вам воплощенье,
Или остыл мой молодой задор?
Ловлю дыханье ваше грудью всею
И возле вас душою молодею.

По мере того как читал он, все более и более просвечивал сквозь его лицо профиль ранней поры, каким его изобразил Кирнарский. Проступали сила, порыв, решительность и воля мастера, обрекшего себя на жизнь заново, перед которой опешил даже Мефистофель — или как его там? — «царь тьмы, Воланд, повелитель времени, царь мышей, мух, жаб».

Вы воскресили прошлого картины,
Былые дни, былые вечера.
Вдали всплывает сказкою старинной
Любви и дружбы первая пора.
Пронизанный до самой сердцевины
Тоской тех лет и жаждою добра...

Ну да, да, ему хочется дойти до сущности прошедших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевин.

И я прикован силой небывалой
К тем образам, нахлынувшим извне,
Эоловою арфой прорыдало
Начало строф, родившихся вчерне.

Это о себе он читал, поэтому и увлек его «Фауст» — не для заработка же одного он переводил и не для известности: он искал ключ ко времени, к возрасту, это он о себе писал, к себе прорывался, и Маргарита была его, этим он мучился, время хотел обновить, главное начиналось, «когда он — Фауст, когда -- фантаст»...

Тогда верни мне возраст дивный,
Когда все было впереди

И вереницей непрерывной
Теснились песни на груди, —

недоуменно и требовательно прогудел он репризу Поэта.

Думаю, если бы ему был дан фаустовский выбор, он начал бы второй раз не с двадцатилетнего возраста, а опять четырнадцатилетним. Впрочем, никогда он им быть и не переставал.

«Вот и все», — очнулся он, запахнув рукопись. Обсуждения не было. Он виновато, как бы оправдываясь, развел руками, потому что его уже куда-то тащили, вниз, верно в ресторан. Шторки лифта захлопнули светлую полоску неба.

* * *

В Веймаре, на родине Гете, находящийся на возвышенности крупный объем гетевского дворца неизъяснимой тайной композиции связан с крохотным вертикальным объемом домика его юности, который, как садовая статуэтка, стоит один в низине, в отдалении. В половодье воды иногда подступают к нему. Своей сердечной тягой большой дворец обращен к малому. Этот мировой закон притяжения достиг заповедной точки в композиции белого ансамбля большого Владимирского собора и находящейся в низине вертикальной жемчужины на Нерли. Когда проходишь между ними, тебя как бы пронизывают светлые токи обоюдной любви этих белоснежных шедевров, обращенных друг к другу — большого к малому.

Море мечтает о чем-нибудь махоньком,
Вроде как сделаться птичкой колибри...

Так же гигантский серый массив дома в Лаврушинском был сердечно обращен к переделкинской даче.

Через десяток лет полный перевод «Фауста» вышел в Худлите. Он подарил мне этот тяжелый вишневый том. Подписывал он книги несуетно, а обдумав, чаще на следующий день. Вы сутки умирали от ожидания. И какой щедрый новогодний подарок ожидал вас назавтра, какое понимание другого сердца, какой аванс на жизнь, на вырост. Какие-то слова были стерты резинкой и переписаны сверху.

Он написал на «Фаусте»: «Второе января 1957 года, на память о нашей встрече у нас дома 1-го января. Андрюша, то, что Вы так одарены и тонки, то, что Ваше понимание вековой преемственности счастья, называемой искусством, Ваши мысли, Ваши вкусы, Ваши движения и пожелания так часто совпадают с моими, — большая радость и поддержка мне. Верю в Вас, в Ваше будущее. Обнимаю Вас — Ваш Б.Пастернак».

Ровно за десять лет до этого, в январе 1947 года, он подарил мне первую свою книгу. Надпись эта была для меня самым щедрым подарком судьбы.

* * *

Последние годы много болел. Травля добила его.

Я навещал его в Боткинской больнице. Принес почитать «Сагу о Форсайтах». Он добросовестно прочитал и пошутил, возвращая: «Пока читаешь его, можно было свою книгу написать...»

Он написал мне из Боткинской: «Я — в больнице. Слишком часто стали повторяться эти жестокие заболевания. Нынешнее совпало с Вашим вступлением в литературу, внезапным, стремительным, бурным. Я страшно рад, что до него дожил. Я всегда любил Вашу манеру видеть, думать, выражать себя. Но я не ждал, что ей удастся быть услышанной и признанной так скоро. Тем более я рад этой неожиданности и Вашему торжеству... Так все это мне близко...»

Тогда же, в больнице, он подарил свое фото: «Андрюше Вознесенскому в дни моей болезни и его бешеных успехов, радость которых не мешала мне чувствовать мои мучения...»

Какой стыд охватил меня за свое здоровое сердце, ноги, лыжи, за свой возраст и ужас невозможности передать это другой, самой дорогой для меня жизни!..

Художники уходят
без шапок, будто в храм,
в гудящие уголья
к березам и дубам...

Я знал его в течение четырнадцати лет.

Сколько раз слова его подымали и спасали меня, и какая горечь, боль всегда ощущается за этими словами.

* * *

В поздних стихах его все больше становится живописи, пахнет краской — охрой, сепией, белилами, сангиной, — его тянет к запахам, окружавшим когда-то его в отцовской студии, тянет туда, где

Мне четырнадцать лет.
Вхутемас
Еще — школа ваянья.
В том крыле, где рабфак,
Наверху,
Мастерская отца...

Он окантовывает работы отца, развешивает их по стенам дома, причем именно иллюстрации к «Воскресенью»,

именно Катюшу и Нехлюдова — ему так близка идея начать новую жизнь. Он будто хочет вернуться в детство, все начать набело, сначала, задумал переписать заново весь сборник «Сестра моя — жизнь», он говорит, что точно помнит ощущения той поры, давшие импульсы к каждому стихотворению, переделывает несколько раз вещи тридцатилетней давности, не стихи переделывает — жизнь свою хочет переделать. Поэзию от жизни он никогда не отделял.

Мне четырнадцать лет...

Где столетняя пыль на Диане
И холсты...

В классах яблоку негде упасть...

Он одобрял мое решение поступить в Архитектурный, не очень-то жалуя окололитературную среду. Архитектурный находился именно там, где был когда-то Вхутемас, а наша будущая мастерская, которая потом сгорела, помещалась именно «в том крыле, где рабфак» и «где наверху мастерская отца...».

Брат его Александр Леонидович преподавал конструкции в нашем институте.

Я рассказывал ему об институте. Мы все были ошеломлены импрессионистами и новой живописью, залы которой после многолетнего перерыва открылись в Музее имени Пушкина. Это совпало с его ощущением от открытия шушкинского собрания, когда он учился. За публикацию статьи о Матиссе меня, редактора курсовой стенгазеты, исключали

из комсомола. «О Мátиссе?!» — кричал возмущенный прибывший в институт секретарь райкома.

По правде сказать, преступление мое было не только в импрессионистах. Посреди всей газеты сверкал золотой трубочек, и из его трубы вылетали ноты: «До-ре-ми-до-ре-до!..» Именно так отвечали надоевшим слушателям джазисты той поры — «А иди ты на..!»

В группе у нас был фронтовик Валера, который играл на баяне. Чистый, наивный, заикаясь от контузии, он пришел в партком и расшифровал значение наших нот. Он считал, что партия должна знать это изречение. И кроме этого, в газете было достаточно грехов.

А когда членам партии прочитали письмо, разоблачающее Сталина, Валера вышел бледный и, заикаясь, прошептал нам, беспартийным: «Я Его Имя на пушке танка написал, а он блядью оказался...»

Кумиром моей юности был Пикассо. Замирая, мы смотрели документальный фильм Клузо, где полуголый мэтр фломастером скрещивал листья с голубями и лицами. Думал ли я, сидя в темной аудитории, что через десять лет буду читать свои стихи Пикассо, буду гостить в его мастерской, спать в его кровати и что напророчат мне на его подрамниках взбесившийся лысый шар и вскинутые над ним черные треугольники локтей?..

«Как ваш проект?» — записан у меня в дневнике пастернаковский вопрос. Расспрашивая о моем житье-бытье, он как бы возвращался туда, к началу начал.

Дни и ночи
Открыт инструмент.
Сочиняй хоть с утра.

Окликая детские свои музыкальные сочинения, как бы вспомнив сказанные ему Скрябиным слова о вреде импровизации, он возвращается к своей ранней «Импровизации», вы помните?

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клекот.
Я вытянул руки, я встал на носки,
Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.
И было темно. И это был пруд.
И волны. — И птиц из породы люблю вас,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливые, черные, крепкие клювы.

Может быть, как в его щемящем «пью горечь тубероз», в музыке этой, в этом «люблю вас» ему послышалась северянинская мелодия? Он молодец, когда говорил о Северянине. Рассказывал, как они юными, с Бобровым кажется, пришли брать автограф к Северянину. Их попросили подождать в комнате. На диване лежала книга лицом вниз. Что читает мэтр? Рискнули перевернуть. Оказалось — «Правила хорошего тона».

Много лет спустя директор казино «Цезарь Палас» в Лас-Вегасе, рослый выходец из Эстонии, коротко знавший Северянина, утешая меня после проигрыша, покажет тетрадь стихов, принадлежавшую его жене, вероятно, возлюбленной поэта, исписанную фиолетовым выцветшим почерком Северянина, с дрожащим нажимом, таким нелепо трепетным в век шариковых авторучек.

Вернуться в дом Россия ищет троп.
Как хороши, как свежи были розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!

Расплывшаяся, дрогнувшая букровка «х», когда-то прихлопнутая страницами, выцвела, похожая на засушенный между листьями лиловато-прозрачный крестик сирени, увя, опять не пятипалый...

В игровом отеле «Цезарь Палас» нет часов, нет и окон, по которым можно бы понять время суток. Прельстительные официантки, одетые в золотые римские тоги, вкрадчиво спрашивают вас: «Сэр, у вас что сейчас — завтрак, обед или, может быть, ужин?»

Ты ласточек рисуешь на меню,
Сбивая сливки к тертому каштану.
За это я тебе не изменю
И никогда любить не перестану...

Жил наш эстонец на ранчо в нескольких милях от Лас-Вегаса. С его дочкой мы играли «в автомат». Она становилась по-матросски, подымала руку, изображая игорный автомат. Я всовывал ей в рот монетку, дергал за руку, из нее сыпался монетный дождь.

Пустой, без гроша в кармане я ходил с запредельным эстонцем по настилу за зеркальным куполом игрового зала. Зеркало было особое. Сквозь него нам, как Мефистофелю с Фаустом, была видна игровая панорама, толпились лысины и смокинги. За руками крупье следили специальные телекамеры. За нами стояли охранники с автоматами.

Так я впервые познал страсть игры под аккомпанемент северянинской мелодии. Сначала, как и в жизни, мне баснословно везло, потом, конечно, все проиграл, все свои гонорары — друзья Алена прилетели и выкупили меня из Лас-Вегаса.

Гигант-эстонец и его дочка махали мне с летного поля.

— Слышала, в Таллинне открылось первое ночное казино? У тебя паспорт с собой?

Мы полетели к джинсовому морю. В чем были — в чесучовых белых прикидах. В Таллинне шел ливень. В гостинице нам как оккупантам не дали места. Мелочи! Зато мы купили билеты на полуночное открытие казино.

Оставалось девять часов помокнуть. Сквозь облипший шелк просвечивал твой розовый позвоночник. Вдруг среди ливня меня окликнули. Боже мой! Это был Ян Гросс, поэт, переведший мою книгу, знакомый мне по Москве.

«Заходите!» Оставляя лужи на мраморном полу, мы поднялись в особняк. Рюмка коньяку и светская получасовая беседа. «А где вы остановились? Ах, нигде... Ах, еще девять часов до открытия?.. Ну заходите как-нибудь в другой раз...»

Еще восемь часов под ливнем. В казино нас не пустили без смокинга. Ночь до первого самолета мы провели на скамейке в аэропорту. Злые, с мокрыми ногами. Но это мелочи! Смотри, открывается утренний буфет! Небритые, заспанные пассажиры потянулись к стойке. Ты, белоснежно-красивая, с непроницаемым лицом, машинально стала в очередь. «Мелочи все это, — бодрился я, — зато как прекрасно, что мы здесь одни, на необитаемой земле, никто нас не знает...»

Тут самый небритый и отвратный оторвался от хвоста и направился к нам: «Здравствуйте...» И он назвал твое кинозвездное имя.

Очередь остолбенела. С непроницаемым лицом ты ответила неземным четко поставленным голосом: «Здравствуйте, еб вашу мать!»

Онемели. Расступились. Пошедшая пятнами буфетчица сунула нам вне очереди бутылку румынского шампанского.

Сев за столик, я спросил: «Что с тобою?» — «А что, что я такого сказала?» — «Ты сказала: ...» — «Не может быть. Я думала, что я не вслух, а про себя сказала. С недосыпа, наверное».

Ваш банк, мадам!

Через неделю ты вернулась в Таллинн одна, чтобы забрать забытую мной в аэропорту куртку.

Знал ли я, что вскоре вся Россия станет казино? И на площади за фигурой Пушкина замаячит надпись «Россия», затянутая матерчатым плакатом «Пушкинский», а сбоку загорится «Casino»?

«Вернуться в дом Россия ищет троп», — дай бог, чтобы сбылись эти слова поэта.

Сколько было поэтов — от Маяковского, которого Северянин возил по России на выступления, и до Сельвинского, которые не избежали его влияния. Пастернак, гудя, показывал, как Северянин не читал, а пел свои стихи. Он называл его «Мастер».

Поздний Пастернак много работал над чистотой стиля.

В одном из своих прежних стихов он сменил северянинское «манто» на «пальто». Он переписал и «Импровизацию». Теперь она называлась «Импровизация на рояле».

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и гогот.
Казалось, — все знают, казалось, — все могут
Кричавших кругом лебедей вожак
И было темно, и это был пруд.
И волны; и птиц из семьи горделивой
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливо дробившиеся переливы.

Как по-новому мощно! Стало строже по вкусу. Но что-то ушло. Может быть, художник не имеет права собственности над созданными вещами? Что, если бы Микеланджело все

время исправлял своего Давида в соответствии со все совершенствующимся своим вкусом?

Художники часто отшатаются от созданного ими, считая прошлое свое греховным, ошибочным. Это говорит о силе духа, но ни в коем случае не может отменить созданий. Так было с Толстым. Такова аскеза позднего Заболоцкого. Возраст жаждет второго рождения. В 1889 году, получив приглашение участвовать в выставке «Сто лет французского изобразительного искусства», Ренуар ответил: «Я объясню вам одну простую вещь: все, что я сделал до сих пор, я считаю плохим, и мне было бы чрезвычайно неприятно увидеть все это на выставке». Этим «плохим» казались ему и зелено-розовая Самари, и жемчужная спина Анны, и «Качели» — то есть «весь Ренуар», — к счастью, он не мог уже ни уничтожить их, ни переписать в «энгровской» или новой красно-коричневой манере.

Пастернак пытался побороть прошлого Пастернака — «с самим собой, самим собой».

Жаль и знаменитой изруганной строки. Она стала притчей во языцех после сурковского разноса.

Это — сладкий заглохший горох,
Это — слезы вселенной в лопатках...

Лопатками в давней Москве называли стручки гороха. Наверное, это сведение можно было бы оставить в комментариях, как сведение о пушкинском брегете. Но, видно, критические претензии извели его, и под конец жизни строка была исправлена:

Это — слезы в стручках и лопатках...

Он был тысячу раз прав. Но что-то ушло. «Есть речи — значение темно иль ничтожно, но им без волнения внимать невозможно». Невозвратно жаль ушедших строк, как жаль исчезнувших староарбатских переулков.

Вообще в его работе было много от Москвы с ее улицами, домами, мостовыми, которые вечно перестраиваются, перекраиваются, всегда в лесах.

Пастернак очень московский поэт. В нем запутанность переулков замоскворецких, чистопрудных проходных дворов, снесенных колоколен, Воробьевых гор, их язык, этот быт, эти фортки, городские липы, эта московская манера ходить — «как всегда нараспашку пальтецо и кашне на груди».

В московские особняки
Врывается весна нахрапом...

Москва вся как бы нарисована от руки, полна живой линии, языкового просторечья, вольного смешения стилей, ампира уживается рядом с ропетовским модерном и архаикой конструктивизма (восемьсот лет, а все — подросток!), да и дома в ней как-то не строятся, а зарастают кварталы, как разросшиеся деревья или кустарники.

В отличие от Северной Пальмиры, которая вся чудодейственно образована по линейке и циркулю, с ее «постоянством геометра», классицизмом, — московская школа культуры, как и образа жизни, стихийнее, размашистей, идет от византийской орнаментальности и близка к самой живой стихии языка.

Все дымкой сказочной подернется,
Подобно завиткам по стенам,

В боярской золоченой горнице
И на Василии Блаженном.

Мэтром его был Андрей Белый — москвич по духу и художественному мышлению. Особенно он ценил сборник «Пепел». Он объяснял мне как-то, что жалеет, что разминулся с Блоком, ибо тот был в Петрограде. Впрочем, деление на поэтов московских и петербургских условно, так, например, в «Двенадцати» Блока уже гуляет «московская» струя. Детская тяга к Блоку сказывалась и в пастернаковском определении поэта. Он сравнивает его с елкой, горящей через замороженное узорами окно. Так и видишь мальчику, с улицы глядящего на елку сквозь морозное стекло...

Весна! Не отлучайтесь
Сегодня в город. Стаями
По городу, как чайки,
Льды раскричались, таючи.

* * *

Мы шли с ним от Дома ученых через Лебяжий по мосту к Лаврушинскому. Шел ледоход. Он говорил всю дорогу о Толстом, об уходе, о чеховских мальчиках, о случайности и предопределенности жизни. Его шуба была распахнута, сбилась набок его серая каракулевая шапка-пирожок, нет, я спутал, это у отца была серая, у него был черный каракуль, — так вот он шел легкой летящей походкой опытного ходока, распахнутый, как март в его стихотворении, как Москва вокруг. В воздухе была теплая слабость снега, предвкушение перемен.

Как не в своем рассудке,
Как дети ослушанья...

Прохожие, оборачиваясь, принимали его за пьяного.

«Надо терять, — он говорил. — Надо терять, чтобы в жизни был вакуум. У меня только треть сделанного сохранилась. Остальное погубило при переездах. Жалеть не надо...» Я напомнил ему, что у Блока в записях есть место о том, что надо терять. Это когда поэт говорил о библиотеке, сгоревшей в Шахматове. «Разве? — изумился он. — Я и не знал. Значит, я прав вдвойне».

Мы шли проходными дворами.

У подъездов на солнышке млели бабушки, кошки и блатные. Потягивались после ночных трудов. Они провожали нас затуманенным благостным взглядом.

О, эти дворы Замоскворечья послевоенной поры! Если бы меня спросили: «Кто воспитал ваше детство помимо дома?» — я бы ответил: «Двор и Пастернак».

4-й Щипковский переулочек! О, мир сумерек, трамвайных подножек, буферов, игральные жосточки, майских жуков — тогда на земле еще жили такие существа. Стук консервных банок, которые мы гоняли вместо мяча, сливался с визгом «Рио-риты» из окон и стертой, соскальзывавшей лещенковской «Муркой», записанной на рентгенокостях.

Двор был котлом, общиной, судилищем, голодным и справедливым. Мы были мелюзгой двора, огольцами, хранителями его тайн, законов, его великого фольклора. Мы знали все. У подъезда стоял Шнобель. Он сегодня геройски обварил руку кипятком, чтобы получить бюллетень на неделю. Он только стиснул зубы, окруженный почитателями, и поливал мочой на вспухшую пунцовую руку. По новым желтым прохорям на братанах Д. можно было догадаться о том, кто грабанул магазин на Мытной.

Во дворе постоянно что-то взрывалось. После войны было много оружия, гранат, патронов. Их, как грибы, соби-

рали в подмосковных лесах. В подъездах старшие тренировались в стрельбе через подкладку пальто.

Где вы теперь, кумиры нашего двора — Фикса, Волюдя, Шка, небрежные рыцари малокозырок? Увы, увы...

Иногда из соседнего двора забредал Андрей Тарковский. Семья их бедствовала. Отец оставил их с мамой, бабушкой и сестренкой Мариной. Они жили в двухэтажном домишке. Мы учились в одном классе. Он был единственным стилистом, ярким вызовом в серой гамме нашей школы. Зеленые брюки венчал оранжевый пиджак, сфарцованный у редкого тогда иностранца. По размеру он походил на пальто. Денег подрубить рукава не было. Директор собирал нас и вещал: «Дети, если вы не будете слушаться учителей, пионерскую организацию — вы вырастете как долгогривый Тарковский». С длинными его патлами не допускали к экзаменам — пришлось постричься под полубокс. Мы дружили с ним. Он единственный в классе знал о Пастернаке, что не мешало нам ценить прохаря и финки.

Незабываемо его явление к нам в девятый «В» 554-й школы. Новенький был странный. Худой. Рассеянный. Черный волос, крепкий, как конский, обрамлял бледные скулы. Он отстал на год из-за туберкулеза. Вспомнилось, как, сев верхом на свободную парту, ошарашил нас сентенцией: «В 15 лет и не иметь любовницы?!» Ни у кого из нас, оболтусов, любовниц тогда не было, но мы понимающе засопели. Голос у него был высокий, будто пел, растягивая гласные. Был он азартен. Отнюдь не паинька. Я пару раз видел его ранее во дворе, жил он в соседнем переулке, мы даже однажды играли в футбол, но познакомились лишь в школе.

Он был старше меня на год, а младше на год учился в нашей школе Саша Мень.

Мы с ним в классе были ближе других. Его сестра Марина прибежала позировать мне для акварельных портретов — у нее была ренуаровская головка. Из школы нам было по дороге. Вся грязь и поэзия наших подворотен, угрюмость детского детства, уличное геройство, вошедшее в кровь, выстраданность так называемой эпохи культа, отпечатавшись в сетчатке его, стали «Зеркалом» времени, мутным и непонятным для непосвященных. Это и сделало его великим кинорежиссером века.

Так вот однажды мы во дворе стукали в одни ворота.

Воротами была бетонная стенка. Мяч был резиновый. На асфальте стояли лужи. Скучая по проходящей вечности, с нами играл Шка — взрослый лоб, блатной из 3-го корпуса. Во рту у него поблескивала фикса. Он уже воровал, вышел из колонии, похваляясь, что на днях в Парке им. Горького они застрелили сторожа, чтобы проверить нервы. Его боялись. И постоянно отдавали ему мяч.

Около нас остановился бледный парень, чужого двора, комплекса своей сеткой с хлебом. Именно его я потом узнал в странном новеньком нашего класса. Чужой был одет в белый свитер, крупной, грубой, наверное, домашней вязки. Он и потом любил вязаные белые кепки и свитера. «Становись на ворота», — добродушно бросил ему Шка, фикса его вспыхнула усмешкой, он загорелся предстоящей забавой.

Андрей поставил авоську у стенки.

Своего свитера он не щадил. Он бросался в ноги. Через час свитер был не чище половой тряпки.

Да вы же убьете его, суки!

Темнеет, темнеет окрест.
И бывшие белые ноги и руки
летят, как андреевский крест.

Да они и правда убьют его! Я переглянулся с корешем — тот понимает меня, и мы выбиваем мяч на проезжую часть переулка, под грузовики. Мячик выпускает дух. Совсем стемнело. Мы убежали, боясь расправы мстительного Шки.

Когда уходил он,
зажавши кашель,
двор понял, какой он больной.
Он шел,
обернувшись к темени нашей
незапятнанной белой спиной.

Лифты не работали. Главной забавой детства было, открыв шахту, пролететь с шестого этажа по стальному крученому тросу, обернув руки тряпкой или старой варежкой. Сжимая со всех сил или слегка опустив трос, вы могли регулировать скорость движения. В тросе были стальные заусенцы. На финише варежка стиралась, дымилась и тлела от трения. Никто не разбивался.

Игра называлась «жосточка».

Медную монету обвязывали тряпицей, перевязывали ниткой сверху, оставляя торчащий султанчик — как завертывается в бумажку трюфель. «Жосточку» подкидывали внутренней стороной ноги, «щечкой». Она падала грязным грузиком вниз. Чемпион двора ухитрялся доходить до 160 раз. Он был кривоног и имел ступню, подвернутую вовнутрь. Мы ему завидовали.

О, незабвенные жосточки — трюфели военной поры!..

Шиком старших были золотые коронки — фиксы, которые ставились на здоровые зубы, и жемчужины, зашитые под кожу детородного члена. Мы же довольствовались наколками, сделанными чернильным пером.

Приводы в милицию за езду на подножке были обычным явлением. Родители целый день находились на работе. Мес-

тами наших сборищ служили чердак и крыша. Оттуда было видно всю Москву, и оттуда было удобно бросить патрон с гвоздиком, подвязанным под капсюль. Ударившись о тротуар, сооружение взрывалось. Туда и принес мне мой старший приятель Жирик первую для меня зеленую книгу Пастернака...

Пастернак внимал моим сообщениям об эпопеях двора с восхищенным лицом сообщника. Он был жаден до жизни в любых ее проявлениях.

Сейчас понятие двора изменилось. Исчезло понятие общности, соседи не знают друг друга по именам даже. Недавно, наехав, я не узнал Щипковского. Наши святыни — забор и помойка — исчезли. На скамейке гитарная группа подбирала что-то. Уж не «Свеча» ли, что горела на столе?..

* * *

Когда-то, говоря в журнале «Иностранная литература» о переводах Пастернака и слитности культур, я целиком процитировал его «Гамлета» (так впервые, в обход цензуры было напечатано это стихотворение, поэтому его и смог спеть Высоцкий в постановке Любимова). Не то машинистка ошиблась, не то наборщик, не то «Аве, Оза» повлияло, но в результате опечатки «авва отче» предстало с латинским акцентом как «аве, отче». С запозданием восстанавливаю правильность текста:

Если только можно, авва отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Эта нота как эхо отзывается в соседнем стихотворении:

Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом он молил Отца.

Когда тбилисский Музей дружбы народов приобрел архив Пастернака, с волнением, как старого знакомого, я встретил первоначальный вариант «Гамлета», заученный мной по изумрудной тетрадке. В том же архиве я увидел под исходным номером мое детское письмо Пастернаку. В двух строфах «Гамлета» уже угадывается гул, предчувствие судьбы.

Вот я весь. Я вышел на подмостки,
Прислонясь к дверному косяку.
Я ловлю в далеком отголоске
То, что будет на моем веку...
Это шум вдали идущих действий.
Я играю в них во всех пяти.
Я один. Все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

Поле соседствовало с его переделкинскими прогулками.

В часы стихов и скорби, одетый, как местный мастеровой или путевой обходчик, в серую кепку, темно-синий габардиновый прорезиненный плащ на изнанке в мелкую черно-белую клеточку, как тогда носили, а когда была грязь, заправив брюки в сапоги, он выходил из калитки и шел налево, мимо поля, вниз, к роднику, иногда переходя на тот берег.

Смерть глядела через поле. Она казалась спасеньем от облавы. Он предлагал Ольге вместе покончить с собой. Здесь он написал, «как зверь в загоне»:

Но и так, почти у гроба
Верю я, придет пора —
Силу подлости и злобы
Одолееет дух добра.

Чувственное поле ручья, серебряных ив, думы леса давали настрой строке. С той стороны поля к его вольной походке приглядывались три сосны с пригорка. Сквозь ветви аллеи крашенная церковка горела как печатный пряник. Она казалась подвешенной под веткой золотой елочной игрушкой. Там была дачная резиденция патриарха. Иногда почтальонша, перефутав на конверте «Патриарх» и «Пастернак», приносила на дачу поэта письма, адресованные владыке. Пастернак забавлялся этим, сияя, как дитя.

Все яблоки, все золотые шары...

Все злей и свирепей дул ветер из степи...

* * *

Хоронили его 2 июня.

Помню ощущение страшной пустоты, охватившее в его даче, до отказа наполненной людьми. Играла Юдина. Только что закончил Рихтер.

Все плыло у меня перед глазами. Жизнь потеряла смысл. Помню все отрывочно. Говорили, что был Паустовский, но пишу лишь о том немногом, что видел тогда. Позже на пастернаковских чтениях Д. Самойлов, ссылаясь на Грибанова, рассказывал, как «Андрюша сидел на крыльце и плакал». В памяти тарахтит межировский «Москвич», на котором мы приехали. Межиров и Майя Луговская ожидали меня до конца похорон у «Голубого Дуная», пивного ларька на подъезде к Переделкину.

Метнулась Ольга, я обнял ее.

Были Асмус, Паустовский, Кома Иванов, Боков, Окуджава, Коржавин, Нонешвили — вот, кажется, и все писатели, может, я кого-то и пропустил.

Кое-кто прислал своих жен, иные, прячась, наблюдали из-за калиток. Передавали слух об обмороке Федина.

Его несли на руках, отказавшись от услуг гробовоза, несли от дома, пристанища его жизни, огибая знаменитое поле, любимое им, несли к склону под тремя соснами, в который он сам вглядывался когда-то.

Дорога шла в гору. Был ветер. Летели облака. На фоне этого нестерпимо синего дня и белых мчавшихся облаков врезался его профиль, обтянутый бронзой, уже чужой и осунувшийся. Он чуть подрагивал от неровностей дороги.

Перед ним плелась ненужная машина. Под ним была скорбная неписательская толпа — приехавшие и местные жители, свидетели и соседи его дней, зареванные студенты, героини его стихов. В старшем его сыне Жене отчаянно проступили черты умершего. Каменел Асмус. Щелкали фотокамеры. Деревья вышли из оград, пылила горестная земная дорога, по которой он столько раз ходил на станцию.

Кто-то наступил на красный пион, валявшийся на обочине.

На дачу я не вернулся. Его там не было. Его больше нигде не было.

Был всеми ошутим физически
Спокойный голос чей-то рядом.
То прежний голос мой провидческий
Звучал, не тронутый распадом...

* * *

Помню, я ждал его на другой стороне переделкинского пруда у длинного дощатого мостика, по которому он должен был перейти. Обычно он проходил здесь около шести часов. По нему сверяли время.

Стояла золотая осень. Садилось солнце и из-за леса ко-
сым лучом озаряло пруд, мостик и края берега. Край пруда
скрывала верхушка ольхи.

Он появился из-за поворота и приближался не шагая, а
как-то паря над прудом. Только потом я понял, в чем было
дело. Поэт был одет в темно-синий прорезиненный плащ.
Под плащом были палевые миткалевые брюки и светлые
брезентовые туфли. Такого же цвета и тона был дощатый
свежеструганый мостик. Ноги поэта, шаг его сливались с
цветом теса. Движение их было незаметно.

Фигура в плаще, паря, не касаясь земли, над водой при-
ближалась у берегу. На лице блуждала детская улыбка недо-
умения и восторга.

Оставим его в этом золотом струящемся сиянии осени,
мой милый читатель.

Пойдем песни, которые он оставил нам.

Апельсины, апельсины...

Нью-йоркский отель «Челси» — антибуржуазный, наверное, самый несуразный отель в мире. Он похож на огромный вокзал десятых годов, с чугунными решетками галерей — даже, кажется, угольной гарью пахнет. Впрочем, может, это тянет сладковатым запретным дымком из комнат.

Здесь умер от белой горячки Дилан Томас. Лидер рок-группы «Секс пистолс» здесь или зарезал, или был зарезан своей любовницей. Здесь вечно ломаются лифты, здесь мало челяди и бытовых удобств, но именно за это здесь платят деньги. Это стиль жизни целого общественного слоя людей, озабоченных социальным переустройством мира, носящих полувоенные сумки через плечо и швейцарские офицерские крестовые красные перочинные ножи. Здесь квартирует Вива, модель Энди Уорхола, подарившая мне, испугавшемуся СПИДа, спрей, чтобы обрызгать унитазы и ванную.

За телефонным коммутатором сидит хозяин Стенли Барт, похожий на затурканного дилетанта-скрипача не от мира сего. Он по рассеянности вечно подключает вас к неземным цивилизациям.

В лифте поднимаются к себе режиссеры подпольного кино, звезды протеста, бритый под ноль бакуинец в мотоциклетной куртке, мулатки в брюках из золотого позумента и пиджаках, надетых на голое тело. На их пальцах зажигаются изумруды, будто незанятые такси.

Обитатели отеля помнили мою историю.

Для них это была история поэта, его мгновенной славы. Он приехал из медвежьей снежной страны, разоренной войной и строительством социализма.

Сюда приехал он на выступления. Известный драматург, уехав на месяц, поселил его в своем трехкомнатном номере в «Челси». Крохотная прихожая вела в огромную гостиную с полом, застеленным серым войлоком. Далее следовала спальня.

Началась мода на него. Международный город закатывал ему приемы, первая дама страны приглашала на чай, посещала его концерты. Звезда андеграунда, режиссер Ширли Кларк, затеяла документальный фильм о его жизни. У него кружилась голова.

Эта европейка была одним из доказательств его головокружения.

Она была фоторепортером. Порвав с буржуазной средой отца, кажется австрийского лесовика, она стала люмпеном левой элиты, круга Кастро и Кортасара. Магниева вспышка подчеркивала ее близость к иным стихиям. Она была звезда, стройна, иронична, остра на язык, по-западному одновременно энергична и беззаботна. Она влетала в судьбы, как маленький солнечный смерч восторженной и восторгающей

энергии, заряжая напряжением не нашего поля. «Бабочка-буря», — мог бы повторить про нее поэт.

Едва она вбежала в мое повествование, как по страницам закружились солнечные зайчики, слова заволновались, замелькали. Быстрые и маленькие пальчики, забежав сзади, зажали мне глаза.

— Бабочка-буря! — безошибочно завопил я.

Это был небесный роман.

Взяв командировку в журнале, она прилетала на его выступления в любой край света. Хотя он и подозревал, что она не всегда пользуется услугами самолетов. Когда в сентябре из-за гроз аэропорт был закрыт, она как-то ухитрилась прилететь и полдня сушилась.

Ее черная беспечная стрижка была удобна для аэродромов, раскосый взгляд вечно щурился от непостижимого света, скулы лукаво напоминали, что гунны действительно доходили до Европы. Ее тонкий нос и нервные, как бусинки, раздутые ноздри говорили о таланте капризном и безрассудном, а чуть припухлые губы придавали лицу озадаченное выражение. Она носила шикарно скроенные одежды из дешевых тканей. Ей шел оранжевый. Он звал ее подпольной кличкой Апельсин.

Для его суровой снежной страны апельсины были ввозной диковиной. Кроме того, в апельсинном горьком запахе ему чудилась какая-то катастрофа, срыв в ее жизни, о котором она не говорила и от которого забывалась с ним. Он не давал ей расплачиваться, комплексуя со всей валютой.

Не зная языка, что она понимала в его славянских стихах? Но она чуяла за иступленностью исполнения прорывы судьбы, за его романтическими эскападами, провинциальной неотесанностью и развязностью поп-звезды ей чудилась птица иного полета.

В тот день он получил первый аванс за книгу. «Прибарахлюсь, — тоскливо думал он, возвращаясь в отель. — Куплю тачку. Домой гостинцев привезу».

В отеле его ждала телеграмма: «Прилетаю ночью тчк апельсин». У него бешено заколотилось сердце. Он лег на диван, дремал. Потом пошел во фруктовую лавку, которых много вокруг «Челси». Там при вас выжимали соки из моркови, репы, апельсинов, манго — новая блажь большого города. Буйвологлазый бармен прессовал апельсины.

— Мне надо с собой апельсинов.

— Сколько? — презрительно промычал буйвол.

— Четыре тыщи.

На Западе продающие ничему не удивляются. В лавке оказалось полторы тысячи. Он зашел еще в две.

Плавные негры в ковбойках, отдуваясь, возили в тележках тяжкие картонные ящики к лифту. Подымали на десятый этаж. Постояльцы «Челси», вздохнув, невозмутимо смекнули, что совершается выгодная фруктовая сделка. Он отключил телефон и заперся.

Она приехала в десять вечера. С мокрой от дождя головой, в черном клеенчатом проливном плаще. Она жмурилась.

Он открыл ей со спутанной прической, в расстегнутой, полузаправленной рубаше. По его растерянному виду она поняла, что она не вовремя. Ее лицо сразу осунулось. Сразу стала видна паутинка усталости после полета. У него кто-то есть! Она сейчас же развернется и уйдет.

Его сердце колотилось. Сдерживаясь изо всех сил, он глухо и безразлично сказал:

— Проходи в комнату. Я сейчас. Не зажигай света — замыкание.

И замешкался с ее вещами в полутемном предбаннике.

Ах так! Она еще не знала, что сейчас сделает, но чувствовала, что это будет что-то страшное. Она сейчас сразу все об-

наружит. Она с размаху отворила дверь в комнату. Она споткнулась. Она остолбенела.

Пол пылал.

Темная пустынная комната была снизу озарена сплошным раскаленным булыжником пола.

Пол горел у нее под ногами. Она решила, что рехнулась. Она поплыла.

Четыре тысячи апельсинов были плотно уложены один к одному, как огненная мостовая. Из некоторых вырывались язычки пламени. В центре подпрыгивал одинокий стул, будто ему поджаривали зад и жгли ноги. Потолок плыл алыми кругами.

С перехваченным дыханием он глядел из-за ее плеча. Он сам не ожидал такого. Он и сам словно забыл, как четыре часа на карачках укладывал эти чертовы скользкие апельсины, как через каждые двадцать укладывал шаровую свечку из оранжевого воска, как на одной ноге, теряя равновесие, длинной лучиной, чтобы не раздавить их, зажигал свечи. Пламя озаряло пупырчатые верхушки, будто они и вправду раскалились. А может, это уже горели апельсины? И все они оранжево орали о тебе.

Они плясали в твоём обалденном черном проливном плаще, пощечинами горели на щеках, отражались в слезах ужаса и раскаянья, в твоей пошатнувшейся жизни. Ты горишь с головы до ног. Тебя надо тушить из шланга!

Мы горим, милая, мы горим! У тебя в жизни не было и не будет такого. Через пять, десять, через пятнадцать лет ты так же зажмуришь глаза — и под тобой поплывет пылающий твой единственный неугасимый пол. Когда ты побежишь в другую ванную, он будет жечь тебе босые ступни. Мы горим, милая, мы горим. Мы дорвались до священного пламени. Уймись, мелочное тщеславие Нерона, пылай, гусарский розыгрыш в стиле поп-арта!

Это отмщение ограбленного эвакуационного детства, пы-
лайте, напрасные годы запоздавшей жизни. Лети над метеля-
ми и парижками, наш пламенный плот! Сейчас будут давить
их, кувыряться, хохотать в их скользком, сочном, резко па-
хучем месиве, чтоб дальние свечки зашипели от сока...

В комнате стоял горький чадный зной нагретой кожеры.

Она покосилась, стала оседать. Он едва успел подхватить
ее.

— Клинический тип, — успела сказать она. — Что ты тво-
ришь! Обожаю тебя...

Через пару дней невозмутимые рабочие перестилали вой-
лок пола, похожий на абстрактный шедевр Поллока и Кан-
динского, беспечные обитатели «Челси» уплетали оставшие-
ся апельсины.

Ширли Кларк крутила камеру и сообщала с уважением к
обычаям других народов: «Русский дизайн».



Однажды в душный предгрозовый полдень я забыл закрыть форточку и ко мне залетела черная дыра.

Помню только, как выгнулась разрываемая фортка. Моя убогая комната — самая незавидная в поселке. Ее бедный потолок раздулся, затрещал, словно в картонку от транзистора всовывали огромный трещавший арбуз.

Посредине комнаты сидела черная дыра.

Она была шарообразна, ее верх прогибал и раздвигал потолок. Побежали трещины. Штукатурка поплыла.

Я в ужасе забился в угол. Было тягостно. Тянуло жаркой стужей. Стекла моих картин на противоположной стене вздулись, как медицинские банки на спине. Фанера шкафа выгнулась парусами.

— Я — ваша погибающая цивилизация, — сказала она.

Уже? Неужели?!

Что случилось с людьми? Что стало с матерью? Что случилось с тобой? С Наташей? Что стало с друзьями? Что случилось со мной?

Когда? Почему?

Мы переоценили или недооценили технику? Мы переоценили или недооценили свободу? Или ты сама себя уничтожила?

Врешь, дура! Посмотри, как до подоконника вымахали июньские ромашки. На экранах летает мировой мяч футбольного чемпионата — не может же мир не увидеть финала. Я добыл два билета на теплоход, и никаким козням мировой реакции и потусторонним силам не вырвать их у нашего человека!

— Я — не гибель, а возможность.

— Так какого же черта ты приперлась, чугунная уродина? Пошла на кухню жарить картошку! Зачем ты давишь на психику? — смелая от ужаса, орал я. — Ты покорила мой единственный шкаф. Мотай, откуда пришла. Луны делает бочар в Гамбурге. Дыры делает Мур под Лондоном. Отваливай!

Я протянул ей финские «Мальборо».

— Не курю, — поблагодарила она.

У нее не было глаз. Она была вся тоскливый комок бескрайнего взгляда.

— Мне одиноко, — сказала она.

Она осталась жить у меня.

Утверждать, что она «сказала», было бы неточно. Она не могла говорить, не имея приспособления для голоса. Она передавала мысли.

Правда, иногда она издавала какой-то странный вздох, отдаленно напоминающий наше «о», — в нем было печальное восхищение, и сожаление, и стон. Я звал ее именем О. Стоило мне мысленно произнести «о», как ты сразу появлялась.

Сейчас я думаю: что притянуло ее тогда в мою форточку? Моя тоска? От тебя целый день не было ни слуху ни духу.

Или, может быть, страницы этой рукописи, лежащие на столе?

О чем писалось в тот день?

О дырах судеб. Опять об оставленной архитектуре? О пяти гениях проносащегося века? О черном кольце? Об осах и остальном?

Память, круглосуточная ополоумевшая телефонистка, подключает случайные голоса. Кружатся дырочки диска.

Я слышу голос осведомленного критика, читающего только заголовки: «Разве может буква, даже такая, как «о», стать сюжетом? Автор и сам признается в том, что он — нуль. Хе-хе. Так и озаглавил свой опус — «Андрей Вознесенский — О»...»

О взгляде Вечности, уставившемся на нас одинаково с фресок Рублева, Эль Греко и Врубеля? О жизни, которая есть и одновременно была?

О человеке-Совести из московской мастерской? О поездке на острова? Об осенних полых скульптурах?

«Ответьте междугородной!»

Он сидит на табуретке в своих очечках на востром носу, шевеля выгоревшими на воле пушистыми бровями, великий английский скульптор, похожий на мужичка-лесовика, мурлыча улыбочку, он сидит и мастерит своих «мурят» — нас с вами, махонькие гипсовые фигурки.

Сумерничаю с Муром.

На столе перед ним проволока, гипсовая крошка, чья-то челюсть, обломок кости палеолита. Фигурки его смахивают на многочисленные земляные орехи — арахисы — со сморщенной кожурой, только белого цвета, гипсовые. Некоторые из них стоят на столе, как игрушечные арахисовые солдатики. Другие валяются, как сухие известковые остовы мертвых ос.

Старый Мур — производитель дыр.

Неготовая дыра прислонена к стене.

Ему восемьдесят три. Он недавно повредил спину, ему трудно двигаться, поэтому он и формует эти мини-модели, а подручные потом увеличивают их до размеров гигантских каменных орясин. Каморка его тесная, под масштаб фигурок. У стены, как главный натурщик, белеет огромный череп мамонта с маленькими дырами глазниц и чей-то позвонок размером в умывальную раковину.

Это XX век, подводя итоги, упрямо и скрупулезно ищет свою идею, находит провалы, зачищает неровности гипса скальпелем.

Однако она оказалась довольно ручным чудовищем. Я водил ее на прогулки.

Питалась она клочками энергии, вытягивая их на расстоянии из кошек, мыслителей, автомобильных аккумуляторов и поклонниц Пугачевой. Мы шли, оставляя на мостовой почти безжизненные кошачьи тела, как выпотрошенные шкурки.

На Котельническую я больше ее не водил — она отсосала всю электроэнергию из соседнего Могэса.

Отвратный, скажу я вам, она имела характер! Она была капризна, дулась, вечно была полна какого-то отрицательного заряда. Ревнуня к людской жизни, она портила телефон, подключаясь к нему. Аппарат принимал одновременно несколько абонентов. Голоса троились. В трубку подсеялись сестры Берри, диспетчерская и какой-то Александр Сергеевич. Одновременно подключалось хрюканье, мяуканье, уханье — я понял, что она не простая штучка. Особенно она не любила разговоры об архитектуре.

От нее я узнал, что она не дыра, а еще дыреныш, отколовшаяся от массы и заплутавшаяся. Я узнал, что черные

дыры — это сгустки спрессованной памяти и чувства, а не проходы в иные пространства, как о них понимали люди. Я узнал, что темнота — это не отсутствие света, а особая энергия тьмы.

Ее как-то искали. Наступило что-то вроде затмения. Стонали куры. Выли собаки. Истерикивали кошки. Вылетели все пробки. Спустившийся тоскливый мрак искал ее всюду.

Она забилась под кровать и отключила в себе напряжение, чтобы ее не нашли. Погоня пронеслась мимо. Она два дня не вылезала из убежища. Что ей у меня нравилось?

Домашние мои к ней притерпелись. Они называли ее Кус-Кус. Когда я уезжал, я запирали ее в чулан.

Однажды, заперев ее, я умотал в горы. Я шел по плато. Вдруг на доселе ровной площадке мне под ноги бросилась радостная дыра, и я кубарем провалился. Раздался восторженный испуг. Я сломал ключицу.

Она любила слизывать кисленькие электроды с батареек транзистора.

Я видел, как она разминалась на воле — она заняла весь поселок и Минское шоссе до мотеля. Во всем поселке отключился свет. Но для удобства она сжималась до размера нормального ньюфаундленда.

У нас была игра с нею. Я должен был перепрыгивать через нее. Когда я находился в воздухе, она расширялась, я вдруг оказывался над Дарьяльской пропастью, потом она мгновенно сжималась, и я опускался опять на крепкую землю.

Но больше всего она любила, когда я подбрасывал ее, как волейбольный мяч, толкал ее энергетическими полями ладоней и пальцев. Она кувыркалась, хохотала, издавала свои вздохи, дурила, прыгала мне на голову, отскакивала от плеч — это было такое счастье, такое веселье. Потом мгновенно наступал спад, хроническая хандра. Жизнь с ней становилась невыносимой.

В маленьких распрях с нею я забывал, что она еще ребенок, и уже совершенно забывал, что она — мироздание.

Ожидаю на пороге Мура.

Скрипнула половица. Как ни стараюсь не дышать, век замечает меня. Востроглазое птичье личико вскидывается. Взгляд затуманен радушием и одновременно колючий. В нем чувствуется хмурая тьма и деспотичная энергия.

Взгляд цепко оценивает вас.

— А вы совсем не меняетесь! — Взгляд поворачивает вас, как натурщика на станке. Вы поеживаетесь. — Вы совсем не изменились с тех лет.

Взгляд ощупывает, пронзает вас, взгляд, как лишнюю глину, срезает, скидывает с вас два десятилетия — и вы вдруг ощущаете знобящую легкость в плечах, свободу от груза и полет во всем теле, и узкие брюки подхватывают в шаг, и за окном шумит май 1964 года, и вы стоите под его взглядом на лондонской сцене перед выходом, и ослепительный Лоуренс Оливье читает «Параболическую балладу»...

«Вы совсем не изменились» — ах, старый комплиментщик, вы тоже не меняетесь, Мур, вы тоже...

Век по-домашнему обтирает руки об фартук. Он делает вид, что не понимает, зачем вы пришли.

— Дочка-то замуж вышла. Вы помните Мэри?

Мур показывает африканское фото солнечной семьи. Из памяти всплывают золотые веснушки, как звездочки меда на теплом молоке. Веснушки Мэри скрылись под загаром. Я взглянул на часы. Было 20-е число, 11-й месяц. 11 час. 59 мин.

Час прошел, век ли? Не знаю.

Она пропала!

Получилось, что я сам выгнал ее. Тогда начинались январские грозы. Жить с нею становилось все опаснее. Друзья остерегали меня судьбой семьи Берберовых. Над нашим Перелелкиным стали отклоняться от пути летящие на Внуково самолеты. Судя по ее невинному виду, я понял, что это ее проделки.

В тот день на все мои телефонные звонки отвечали Пушкин, Юлий Цезарь и чугуевская баня. Кто-то отсосал всю темноту в кувшинах. Она радостно лыбилась, требуя поощрения.

— Займись делом! Оставь «Аэрофлот» в покое. Твои сверстники учатся и строят БАМ. Кто опять слизнул все кисленькие батарейки? Если тебе скучно — никто тебя не держит!

Я обидел ее.

Она взглянула злобно, растерянно и беспомощно. Она передернулась форточкой и вылетела вон.

— Нагуляешься — фортка открыта!

Я подумал, что она без пальто, но потом понял, что это для нее не имеет значения.

Она не вернулась ни завтра, ни в среду. Ее не было под кроватью, ее не было в саду за сараем, ее не было в канаве у шоссе, ее не было на кладбищенском пригорке. За пригорком ее тоже не было.

Я складывал ладони рупором, я звал ее: «О-ooo!»

Откликалось эхо, но это было не ее «о».

Иногда мне кажется, что я вижу ее взгляд в глубине темного зала, поэтому меня тянет выступить. Однажды в самолете я почувствовал тоску под ложечкой и понял, что она где-то рядом.

Потом я забыл о ней.

Осмотрим, что ли, мои дыры?

Мур спрыгивает с табурета. Вы пытаетесь поддержать его. Он увертывается и, легко опираясь на две палки, выпрыгивает на улицу, а там медленно подбирается по дорожке к машине. В его коренастой фигуре крепость и легкость, летучесть какая-то. Кажется, не будь он привязан к двум палкам, он улетел бы в небо, как кубический воздушный шар. Также привязан к воткнутой палке и не может улететь куст хризантем, обернутый от заморозков в целлофановый мешок.

Ветер, какой ветер сегодня! Он треплет его белесый хохолок, он вырывает мой скользкий шарф, и тот, как змея, завиваясь, уносится по дорожке и застревает в колючих кустах.

Ветер треплет прямую пегую стрижку Анн, племянницы Мура. Ветер струится в траве, дует, разделяя ее длинными серебряными дорожками. В образовавшихся полосках просвечивает почва, розоватая, как кожа. Ветер треплет и перебирает прядки, будто кто-то ищет блох в траве.

Мур садится за руль. Меня сажают рядом — для обзора.

Машина еле-еле трогается. Мы проезжаем по парку, по музею Мура. В мире нет подобных галерей. Его парк — анфилада из огромных полян, среди которых стоят, сидят, возлежат, парят, тоскуют скульптуры — его гигантские окаменевшие идеи. Зеленые залы образованы изумрудными английскими газонами, окаймленными вековыми купами, среди которых есть и березы.

— Скульптура должна жить в природе, — доносится глуховатый голос создателя, — сквозь нее должны пролетать птицы. Она должна менять освещение от облаков, от времени суток и года.

Машина еле-еле слышно, как сумерки, движется, кружит вокруг идей, вползает на газоны, оставляя закругленные се-

ребряные колеи примятой травы, объезжает объемы. Как в замедленной кинохронике, открываются новые ракурсы.

— Объемы надо видеть в движении.

Он слегка то убыстряет, то замедляет ход. Кажется, он спокоен, но голос иногда хрипловато подрагивает, он всегда волнуется при встрече с созданиями. Его вещи нельзя смотреть в закупоренных комнатах, с одной точки обзора.

— Самая худшая площадка на воздухе, на воле лучше самого распрекрасного дворца-галереи. Вещь должна слиться с природой, стать ею. Вон той пятнадцать лет, — говорит он о скульптуре, как говорят о яблоне или корове.

В одну из скульптур ведет овечья тропа.

Это его «Овечий свод». Две мраморные формы неясно склонились одна над другой, ласкаясь, как мать с детенышем. Под образованный ими навес, мраморный свод нежности, любят забиваться овцы. Они почувствовали ласку форм и прячутся под ними от зноя и ненастья. Как надо чувствовать природу, чтобы тебя полюбили животные!

Черные свежие шарики овечьего помета синевато отливают, как маслины.

Среди лужайки полулежа хмуро замер гигант с необъятными плечами и бусинкой головы — Илья Муромец его владений.

Мастер любит травертинский камень. Этот материал крепок и имеет особую фактуру — он как бы изъеден короедями, поэтому скульптура вся дышит, живет, трепещет, будто толпы пунктирных муравьев снуют по поверхности. Скульптуры стоят, похожие на серо-белые гигантские муравейники.

Сквозь овальные пустоты фигур, как в иллюминаторах, проплывают сменяющиеся пейзажи, облака, ветреные кроны.

Вот наконец знаменитые дыры Мура. Они стали основой его стиля и индивидуальности. Поздние осы выются сквозь них. Люди смотрят мир сквозь них. Здесь каждый может подобрать себе по размеру печаль и судьбу. Надо знать только свою душевную диоптрию.

Это отверстые проемы между «здесь» и «там». Это мировые дыры истории. Ах, как свистали ветры в окно, прорубленное Петром в Европу!

Вот Память или, может быть, Раскаянье? — сквозь нее видны леса и история.

Объезжаем идею «Влюбленных». Это уже не скульптура, а формы жизни. Проплывают овалы плеч, бедра, шеи. Открывается разлука. Линии жизни. Пропasti. Сближения.

Мы стоим по колено в траве и вечности.

Дальше.

Глухое волнение исходит от следующей скульптуры. Перехватило горло. Я прошу остановиться. Выходим.

На боку лежит двувальный силуэт из темного мрамора с дырой посередине — как положенная на ребро, окаменевшая в монумент гитара Высоцкого.

Опустив голову.. Но нет, сначала о Таганке. Год, когда я первый раз посетил Мура, был годом открытия Театра на Таганке. Это было веселое, рискованное, творящее время.

В мою квартирку на Елоховской приехали Юрий Петрович Любимов в черной куртке на огненной подкладке и завлит театра Элла Левина. Театр подготовил из моих стихов одно отделение. Я читал второе. Мы провели два вечера. Так родился спектакль «Антимиры». Его сыграли восемьсот раз, еще в два раза больше было неучтенных выступлений. Театр стал родным для меня. Когда готовили

второй спектакль «Берегите ваши лица», мы почти полгода не расставались.

Молодые талантливые глотки орали под гитару:

Антимиры — мура!

Самым небрежно-беспечным и замороженным от гибели казался коренастый паренек в вечной подростковой куртке с поднятым воротником. Он сутулился, как бегун перед длинной дистанцией.

Почти вплотную придвинувшись, почти касаясь невзрослыми ресницами, ставшее за столько лет близким, его молодое, изнуренное мыслью лицо в упор глядит на меня сквозь эту страницу.

Его лоб убегает под рассыпчатую скошенную челку, в светлых глазах под усмешкой таится недосказанный вопрос, над губой прорастает русая щетинка — видно, запускал усы перед очередным фильмом, — подбородок обволакивает мягкая припухлость, на напряженной шее вздулась синяя вена — отчего всегда было так боязно за него!

Попытавшийся нарисовать его с удивлением вдруг обнаруживал в его лице античные черты — это скошенную побельведерски лобную кость, прямой крепкий нос, округлый подбородок, — но все это было скрыто, окутывалось живым обаянием, приклатненной усмешечкой и тем неприкаянным, непереводаемым, трудным светом русской звезды, который отличается от легкого света поп-звезд Запада. Это была уличная античность, ставшая говорком нашей повседневности, — он был классикой московских дворов.

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...

Облазивший городские крыши, уж не угнал ли он на спор чугунную четверку с классического фронтона?

Я никогда не видел на нем пиджаков. Галстуки теснили ему горло, он носил свитера и расстегнутые рубахи. В повседневной жизни он не лез на рожон, чаще отшучивался, как бы тая силы и голос для главного. Нас сблизили «Антимиры».

Он до стога заводил публику в монологе Ворона. Потом для него ввели кусок, в котором он проявил себя актером трагической силы. Когда обрушивался шквал оаций, он останавливал его рукой. «Провала прошу», — хрипло произносил он. Гас свет. Он вызывал на себя прожектор, вжимал его в себя, как бревно, в живот, в кишки и на срыве голоса заканчивал другими стихами: «Пошли мне, Господь, второго». За ним зияла бездна. На стихи эти он написал музыку. Это стало потом его песней, которую он исполнял в своих концертах.

Для сельского сердца Есенина загадочной тягой были цилиндр и шик автомашины, для Высоцкого, сорванца города, такой же необходимостью на грани чуда стали кони и цветы с нейтральной полосы.

«Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее», но кони несли, как несли его кони!

В нем нашла себя нота городских окраин, дворов, поспешно заасфальтированной России — та же российская есенинская нота, но не крестьянского уклада, а уже нового, городского. Поэтому так близок он и шоферу, и генералу, и актрисе — детям перестроенной страны. Пел он, что думала улица — о тягостях житухи, о бардаке производства, о проворовавшемся вельможе, называя все своими именами. Время показало, как он был прав.

Часто он писал свои стихи при включенном телевизоре — это даже помогало ему.

Кто сказал, что самородки рождаются лишь у ручьев, в заповедных рощах, в муромских лесах? Что только пастушки

и подпаски — народные избранники? В городах тоже народ живет. Высоцкий — самородок. Он стал сегодняшней живой легендой, сюжетом людской молвы, сказкой проходных дворов. Он умыкнул французскую русую русалку, посадив ее на желтое двойное седло своей гитары.

Что сгубило его? Думаю, что имеет он возможность петь, скажем, в Лужниках, под стать размаху дарования, не будь этого душевного разлада — беда не сладила бы с ним. Умер он ночью во сне, связанный веревками. Друзья связали его, чтобы не буйствовал и отдохнул перед спектаклем. Эти тугие вервия медью отпечатались в бронзовом памятнике. Если встать лицом к памятнику его на Ваганькове, то бронзовая гитара как нимб блеснет за его головой.

Смерть его вызвала море стихов — все, даже те, кто травил его или помыкал им, кинулись воспеть его. Где они были, когда поэт хрипел, когда ему так нужно было доброе слово?

Бесчисленны народные стихи и плачи о нем. В них главное — искренность. Мне показывали несколько моих, которые я видел впервые. Увы, должен сказать, что мне принадлежат лишь три посмертных стихотворения его памяти. Еще одно, «Реквием», тогда называвшийся «Оптимистическим», я написал при его жизни, в семидесятом году, после того, как его реанимировал Л.О.Бадалян:

Шел популярней, чем Пеле,
с беспечной челкой на челе,
носил гитару на плече,
как пару нимбов...
О златоустом блатаре
рыдай, Россия!
Какое время на дворе —
таков мессия.

Страшно, как по-другому читается это сейчас. Ему эти стихи нравились. Он показывал их отцу. Когда русалка прилетала, он просил меня читать ей их.

Стихи эти долго не печатали. После того как «Высоцкий» было заменено на «Владимир Семенов», они вышли в «Дружбе народов». Как Володя радовался публикации! Та же «Дружба» первой рискнула дать его посмертную подборку стихов с моим предисловием.

Трудно писать еще о нем, такая мука слушать его пленки — так жив он во всех нас.

На десятилетия Таганки, «червонце», он спел мне в ответ со сцены:

От наших лиц остался профиль детский,
Но первенец был сбит, как птица, влет.
Привет тебе, Андрей, Андрей, Андрей Андреич
Вознесенский.
И пусть второго Бог тебе пошлет...

Страшно сейчас услышать его живой голос с пленки из бездны времен и судеб. Он никогда не жаловался, как ни доставалось ему. В поэзии он имел сильных учителей.

Он был тих в жизни, добр к друзьям, деликатен, подчеркнута незаметен в толпе. В театре он был вроде меньшого любимого брата. Он по-детски собирал зажигалки. В его коллекции лежит «Ронсон», который я ему привез из Лондона. Его все любили, что редко в актерской среде, но гибельность аккомпанировала ему — не в переносном смысле, а в буквальном.

Однажды на репетиции «Гамлета» в секунду его назначенного выхода на место, где он должен был стоять, упала многотонная конструкция. Она прихлопнула гамлетовский

гроб, который везли на канате. Высоцкий, к счастью, заговорился за сценой.

Он часто бывал и певал у нас в доме, особенно когда мы жили рядом с Таганкой, пока аллергия не выгнала меня из города.

Там, на Котельнической, мы встречали новый, 1965 год под его гитару.

Заходите, читатель, ищите стул, а то располагайтесь на полу. Хватайте объятые паром картофелины и ускользящие жирные ломти селедки. Наливайте что бог послал! Пахнет хвоей, разомлевшей от свечек. Эту елку неожиданно пару дней назад завез Владимир с какими-то из своих полууголовных персонажей.

Гости, сметая все со стола — никто не был богат тогда, — жаждут пищи духовной.

Ностальгический Булат, основоположник струнной стихии в стихе, с будничной властностью настраивает незнакомую гитару и, глянув на Олю, поет своего «Франсуа Вийона». Разве он думал тогда, что ему придется написать «Черного московского аиста»?

Будущий Воланд, а пока Веня Смехов, каламбурит в тоске. Когда сквозь года я вглядываюсь в эти силуэты, на них набегают гости других ночей той квартиры, и уже не разобрать, кто в какой раз забредал.

Вот Олег Табаков с ядовитой усмешкой на капризном личике купидона еще только прищуривается к своим великим ролям «Обыкновенной истории» и «Обломова». Он — Моцарт пляды, рожденной «Современником».

Тяжелая дума, как недуг, тяготит голову Юрия Трифонова с опущенными ноздрями и губами, как у ассирийского буйвола. Увы, он уже не забредет к нам больше, летописец тягот, темных времен и быта, быта асфальтовой Москвы. Читает Белла. Читая, она так высоко закидывает свой хрусталь-

ный подбородок, что не видно ни губ, ни лица, все лицо оказывается в тени, видна только беззащитно открытая шея с пульсирующим неземным знобящим звуком судорожного дыхания.

Бывал Шагал. Белый, прозрачный, как сказочный морозный узор на стекле с закатным румянцем. В той же манере он сделал иллюстрации к моим стихам. Вот он, потупясь, из-под деликатных кисточек бровей косится на барственную осанку Константина Симонова и вздыхает Зое: «О! давненько я такого борща не кушал. Еще полтарелочки, а?»

Да нет же, я ошибся, это, конечно, в другой раз было, дурная черная дыра, ты подводишь меня, это было уже в Переделкине — а сейчас безбородый Боря Хмельницкий, Бемби, как его звали тогда, что-то травит безусому еще Валерию Золотухину. Тот похохатывает как откашливается, будто в горле першит, будто горло прочищает перед своей бескрайней песней «Ой, мороз, мороз...»

Мая Плисецкая в золотом обтягивающем платье откидывается, как на черную спинку стула, на широкую волевою грудь Щедрина. Они будто репетируют перед нами «Кармен-сюиту».

И каждый выпукло светится, оттененный бездной судьбы за спиной.

Смуглый Таривердиев, не стряхнув коротко стриженный снег с головы, нервно сбрасывает нерповую куртку на грудь пальто и шуб в спальне и, морщась, как от зубной боли, углубляется в ненастроенное пианино.

В открытый проем балконной двери залетают снежинки и тают, касаясь голых разогретых плеч его головокружительно красивой спутницы.

В проем двери, затягивая, глядела великая тьма колодца двора.

Двор пел голосом Высоцкого.

Когда он рванул струну, дрожь пробежала. Он пел «Эх, раз, еще раз...», потом «Коней». Он пел хрипло и эпохально:

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...

Это великая песня.

Когда он запел, страшно стало за него. Он бледнел иступленной бледностью, лоб покрывался испариной, вены вздувались на лбу, горло напряглось, жилы выступали на нем. Казалось, горло вот-вот перервется, он рвался изо всех сил, изо всех сухожилий...

Пастернак говорил про Есенина: «Он в жизни был улыбочивый, королевич-кудрявич, но когда начинал читать, становилось понятно — этот зарезать может». Когда пел Высоцкий, было ясно, что он может не зарезать, а зарезаться.

Что ты видел, глядя в непроглядную лунку гитары?

В сорок два года ты издашь свою первую книгу, в сорок два года у тебя выйдет вторая книга, и другие тоже в сорок два, в сорок два придут проститься с тобой, в сорок два тебе поставят памятник — все в твои теперь уже вечные сорок два.

Постой, Володя, не уходи, спой еще, не уходи, пусть пождут там, спой еще...

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...

Опустив голову, осторожно в день его рождения, 25 января, мы несем венки на могилу. Уже вторая годовщина его смерти идет.

Венок выше нас.

Когда заносили, разворачивали венок, я оказался на мгновение за венком, лицом к процессии. И вдруг на миг в овальной хвойной раме венка поплыли лица тех, кто шел за венком, тех, кто начинал с ним театр, родные любимые

лица — Боря, Тая, Валера, Зина, Коля, Алла, Таня, Веня, — в эту минуту не знаменитые артисты, нет, а его семья, его театр, пришедший к усопшему брату своему, безутешные годы театра плачут по нему, плачут, плачут...

○ чем говорит мне гостеприимный скульптор?

Выезжаем за ограду, горизонт образован идеальной линией зеленого холма.

Скульптор будто понимает вас без слов.

— Тут хотели фабрику построить, весь ландшафт опаскудили бы. Вот и пришлось откупить у них все это пространство. Я насыпал холм, найдя сегментную форму, хотелось на нее поставить скульптуру, да, как ни примеряю, все не подходит.

Он лепит не только из меди и гипса — он лепит холмами и небесами.

— Узнаете? — спрашивает скульптор, объезжая две плоские формы с проемом между ними, как потемневшие оркестровые тарелки, сдвинутые за миг до удара.

...ослепительный Лоуренс Оливье читает «Параболическую балладу». Идет мемориальный вечер памяти Элиота... Идет шестьдесят четвертый год. Все живы еще. И вы только что написали «Озу».

Вы беспечно и уверенно стоите на сцене. Но в шею дует. За вашей спиной ощущается холодок движения — на кружащейся, едва-едва кружащейся сцене плавно вращаются две огромные вертикальные царственно белые тарелки, специально изготовленные для этого вечера. От их вращения шевелятся щекочущие волосы над вашей шеей, вы чувствуете холодок за спиной, по лицам зрителей плывут белые отсветы, за окном шумят шестидесятые годы.

И какое-то предчувствие спазма сводит горло.

Увы, не только овации были памятью того года.

Меня мучили страшные рвоты, они начались год назад и продолжались жестоко и неотступно. Приступы этой болезни, схожей с морской и взлетной, особенно учащались после вечеров. В воспаленном мозгу пронесилось какое-то видение Хрущева с поднятыми кулаками. Видение вопило: «Вон! Вон!» — вздымало на меня кулаки, грозило изгнать. Из пасти летели брызги. Врачи говорили, что это результат срыва, нервного перенапряжения, шока, результат перенесенного бранья с трибуны. Нашли даже какое-то утоньшение стенки пищевода.

Основным ощущением того времени была прохлада умывальной раковины, прикоснувшейся к горячему лбу. О, облеваннные хризантемы!..

Дамы, отойдите! Даже тебя я стесняюсь, дай, дай же скорее мокрое полотенце. Выворачивайся наружу, чем-то отравленная душа!

Я боялся, что об этом узнают, мне было стыдно, что меня будут жалеть. Внезапно, без объяснения я уходил со сборищ, не дочитав, прерывал выступления. Я перестал есть. Многие мои поступки того времени объясняются боязнью этих приступов. Жизнь моя стала двойной — уверенность и заносчивость на людях и мучительные спазмы в одиночестве. Через пару лет недуг сам собой прекратился, оставшись лишь в спазмах стихотворных строк.

— **О**чень завидую вам, — говорит скульптор. — Поэзия — высшее из искусств. Скульптура замкнута в себе. Поэзия — открытая связь людей. Я знал Дилана Томаса, Стивена Спендера. Поэзия — самая необходимая ветвь в искусстве.

Я думаю о прошедших годах, о феномене поэзии и феномене нашей страны. За все эти годы я ни разу не видел, что-

бы книга хорошего поэта лежала на прилавке. Зал на серьезных поэтов полон. Глухие к поэзии обзывали это модой. Если бы это было модой, это не длилось бы четверть века. Поэзия — национальная любовь нашей страны.

Не только элитарным вечером Элиота знаменит лондонский 1964-й. Эхо московских Лужников, когда впервые в истории четырнадцать тысяч пришли слушать стихи, колыхнуло западную поэзию. Ареной битвы за поэтического слушателя стал круглый Альберт-холл — мрачное цирковое сооружение на пять тысяч мест. Это был риск для Лондона. Съехались вожди демократической волны поэзии. Прилетел Аллен Гинсберг со своей вольницей. С нечесаной черной гривой и бородой по битническому стилю тех лет, в черной прозодежде, философ и эрудит, в грязном полосатом шарфе, он, как мохнатый черный шмель, врывался в редакции, телестудии, молодежные сборища, вызывая радостное возмущение. Уличный лексикон был эпатажем буржуа, но, что главное, это была волна против войны во Вьетнаме. Он боготворил Маяковского.

Обожали, переполняли, ломались, аплодировали, освистывали, балдели, рыдали, пестрели, молились, раздевались, швырялись, мяукали, кайфовали, кололись, надирались, отдавались, затихали, благоухали, смердели, лорнировали, блевали, шокировались, не секли, не понимали, не фурыкали, не волокли, не контактировали, не догоняли, не врубались, трубили, кускусничали, акулевали, клялись, грозили, обожрали, вышвыривали, не дышали, стонали, учились, революционизировались, поняли, скандировали: «Ом, ом, оом, ооммм!..»

Овации расшатывали Альберт-холл.

На цирковой арене, окруженной зрительскими ярусами, сидели и возлежали живописные тела поэтов. Вперемежку с ними валялись срубленные под корень цельные деревья ги-

гантской белой сирени. Периодически то там, то здесь, как гейзер, кто-то вскакивал и произносил стихи. Все читали по книгам. На Западе поэты не знают своих стихов наизусть. Крепыш австриец Эрнст Яндл, лидер конкретной поэзии, раскрывал инстинктивную сущность женщины — фрау. «Фр... фр... — по-кошачьи фыркал он, а потом ритмически лаял: — Ау! ау!» Заводились. Аллен читал об обездоленных, называл адрес свободы. Он аккомпанировал себе на медных тарелочках. «Ом, ом!» — ревел он, уча человечности.

Чего ты жаждешь, зияющая пасть аудитории? Боб Дилан говорил мне, что обожание аудитории может обернуться выстрелом. Он даже одно время боялся выступать. Это было задолго до убийства Леннона.

И за этой массовой, обрядом, хохмой, эстрадой совершалось что-то недоступное глазу, чувствовался ход некоего нового мирового процесса, который внешне выражался в приобщении к поэзии людей, дотоле не знавших стихов.

Разве это только в Москве?

Расходились. Отшучивались. Жили. Забывали. Вкалывали. Просыпались. Тосковали. Возвращались душой. Воскресали.

Откалывала номера реклама.

Вот одна афиша: «В Альберт-холле участвуют все битники мира: Л.Ферлингетти... П.Неруда... А.Ахматова... А.Вознесенский...» В те дни Анна Ахматова гостила в Англии, получала оксфордскую мантию. Я не мог посетить этот церемониал, в тот же вечер у меня было выступление в Манчестере. Профильная тень Ахматовой навеки осталась на мозаичном полу вестибюля Лондонской национальной галереи. Мозаика эта выполнена в сдержанной коричневой гамме Борисом Анрепом, инженером русского происхождения. Еще в бытность в России Анна Андреевна подарила ему кольцо из черного камня. Анреп носил это кольцо на

груди подвешенным на цепочке — маленькое черное «о» колечка.

Во время войны Анреп утерял кольцо. Когда Ахматова приехала в Лондон, она хотела видеть его. Но Анреп заблаговременно исчез в Париж, опасаясь, что она спросит о кольце. Возвращаясь домой через Париж, Ахматова позвонила Анрепу. Они встретились. Она не спросила о кольце. Эту историю мне рассказал оксфордский мэтр сэра И. Берлин, один из самых образованных и блестящих умов Европы.

Помните «Сказку о черном кольце»?

Потеряла я кольцо...
Как взглянув в мое лицо,
Встал и вышел на крыльцо.
Не придут ко мне с находкой.
Далеко за быстрой лодкой
Забелели паруса.
Заалели небеса.

На мозаичном полу в овальных медальонах расположены спрессованные временем лики века — Эйнштейн, Чарли Чаплин, Черчилль.

В центре, как на озере или огромном блюдище, парят и полувозлежат нимфы. Нимфа Слова имеет стройность, челку, профиль и осиную талию молодой Ахматовой. Когда я подошел, на щеке Ахматовой стояли огромные ботинки. Я извинился, сказал, что хочу прочесть надпись, попросил подвинуться. Ботинки пожали плечами и наступили на Эйнштейна.

На мозаичном полу в вестибюле расположены киоски для путеводителей, проспектов, открыток. Толпятся люди. Полируют подошвами лики великих, впрочем, не причиняя им видимого вреда.

Толпа валила в галерею. Любящие люди шли смотреть вывешенных кумиров, по пути топча их лица и имена.

Ответьте, пожалуйста, академик Лихачев, астроном истории и языка, Дмитрий Сергеевич, ответьте, пожалуйста, не встречалось ли вам в ваших пространствах непознанное пятно? Лихачев поднимает глаза. «Вы больны?.. Прочитайте сердцем несколько раз «Слово о полку Игореве», — отвечает. Судьба русской интеллигенции, годы лагерей проступают сквозь его лицо.

Он разглаживает на столе рукопись как кольчугу, сотканную из ржавых «о».

Осы, бессонные осы залетают в мое повествование, золотые тельца, крошечные веретена с нанизанными на них черными колечками.

Меня мучают осы из классических сот погибшего поэта: «Вооруженный зреньем узких ос...», осы заползают в розу в кабине «роллс-ройса», «...осы тяжелую розу сосут...», осы, в которых просвечивает имя поэта. Ос особенно много этой осенью. Имена проступают, порой неосознанно, сквозь произведения.

«Бор, бор» — будто имя слышится в строках: «Этого бора вкусный цукат, к шапок разбору...», «И целым бором ели, свесив брови, брели на полузанесенный дом...» Вы слышите? Проборматывается «бор», обрывок обмолвленного имени, мета мастера, оборванная часть его автографа, его отражение в природе — двойник духа — бор, бормотанье, бабочка-буря, бррр...

Это стиль нашего века. Рекомендовать себя векам по имени не было повадкой стихотворцев прошлых столетий. У Дениса Давыдова или Дельвига собственные имена звучат шуточно. Классичный мастер нашего века произносил свое

имя подсознательно. Судьба просилась наружу, аукалась со словарем. Хотя кто знает — подсознательно ли? Ведь в слове «акмеизм» было закодировано имя Ахматовой.

С какой сердечностью, распахнутостью, незащищенностью, предчувствием скорого расставания с кратковременным «я» повторяется в стихах Есенина: Сергей, Сережа, Сергуха, Сергунь, Сергей Есенин! Как ковано звучит «Владимир» Маяковского! Цветаева зашифровала себя в море.

А что скажет нам имя «Мур»? Как оно проступает в его твореньях? Как подсознательное «я» проявляется в очертаниях его созданий? Откуда его овальные дыры, пустоты, ставшие его манерой?

MOORE — так пишется по-английски его имя. Оно образовано двумя «о». Да простят мне английские муроведы наивность лингвистического метода! Я вижу, как вытягивается уже достаточно вытянутое аристократическое лицо Джона Рассела, автора монографии о Муре, мы многие часы провели с ним в беседах: ах, вот куда клонит этот русский! Да, я уверен, что эти «о» стали неосознанно творческим автографом Мура в камне — отсюда его отверстия, овальные люки в пространстве. Скульптор подсознательно мыслил очертаниями родных букв.

Осведомленный критик тут прерывает мое повествование. Его глаз пролезает в скважину моей двери. Он весь по пояс протискивается, как змея, за своим сладострастным глазом.

— Ну автор, вот, хе-хе, и до двух нулей доигрался. Туалетные символы. Пушкин так бы не написал. Конечно, я читал Пушкина. Но у него это было более по-народному. Или по-французски.

Он уныривает в нору замочной скважины и затихает, уже куда-то пишет свои доносы. Жаль его. В его взгляде вечная ущемленность.

От нее осталась у меня манера читать страницы. Я вижу сначала жемчужную горсть «о», разбросанных по листу, а потом уже остальные буквы.

Страница газеты, как оконные стекла в оспинах первых капель дождя, напоминает мне о ней.

В хрустальной морозной пушкинской строфе 1829 года замерли крохотные «о», как незабвенные пузырьки шампанского:

Мороз и солнце...
Открой сомкнуты негой взоры...
Северной Авроры...
Вечор, ты помнишь...
Пятно... окно...

Может, он вспомнил Михайловское два года назад, когда так хотелось шампанского и приехал Пущин и черная бутылка дельфином скакнула в снег?

Но навек остались пузырьки прекрасного мгновения, замершего в строфу тоста, — щекочущие до слез игольчатые пузырьки Клико...

Оказалось, что буква «о» — самая распространенная в русском языке, основа нашей речи, а стало быть, и сознания. Не она ли ключ к национальному характеру? Даль пишет: «О — по старинке «он», повторяется не в пример чаще всех прочих».

«Обрыв», «Обломов», «Обыкновенная история» говорят об овальном мировоззрении Гончарова, восприятию окружности бытия.

Впрочем, эта буквица объединяет все европейские языки, а заокеанцы даже поднимают пальцами «о», т. е. «о'кей», в знак одобрения.

Сейчас, когда я пишу эти строки, по крыше лупит благо-

словенный рахманиновский переделкинский ливень. Потолок протекает. Мы ставим два таза — один, большой, эмалированный, посередине комнаты, другой, поменьше, жестяной, в правый угол, где у меня висят акварели.

Небесная капля, набухнув в штукатурке потолка, вздвигает ее, как творог марлю, глухо шлепается кругами в таз. Тазы наполняются полнозвучным «о» — большими и малыми, пропахшими садовым духом цветенья, профильтрованными потолком июньскими небесными буквицами. Кошка пытается достать их из таза лапой.

Завтра надо с этим справиться. Чудо кончится.

Впрочем, Лазуковой, которая живет в двух шагах, не до этих красот. Она недавно схоронила мужа и живет с сыном. Я заходил к ним вчера. Посередине комнаты выстроились корыта, тазы, ведра. Сплошное пролитье потолка. Вошла соседка, тоже мученица верхнего этажа: «Год просим, все не ремонтируют, идола. Помогите нам написать куда-нибудь, лучше в «Труд». Напишу в это повествование. Может, чем поможет.

Я думаю: что притянуло небесную гостью к нашему жилью?

Дом наш на три семьи. За задней стенкой недавно умер сосед, оставив печальный вакуум небытия. Он был добрым поэтом, знал Есенина.

Затененный участок зарос елями, крапивой и угрюмством. В подслеповатых комнатках даже в жаркий полдень сыро. Но в этом хмуром клочке земли есть какая-то душевная волшебная тяга, как в затаенном характере пушкинской Татьяны или безответном чувстве. Именно здесь, у покосившегося забора, среди крапивы и бурелома, находится заповедный уголок пейзажа, который приехавший великий художник назвал самым красивым на свете и дорогим. Мо-

жет быть, поэтому здесь проходит незарастающая тропа, сделавшая наш двор проходным, а может быть, оттого, что это сокращает путь в соседний магазин.

Дыры — слезы сыра.

Искусство нарезания сыра, костромского или голландского со слезой, — в тонкости и ровности ломтя. Нож должен просвечивать сквозь золотую плотность сыра. Раскройте страницу «Старосветских помещиков», пожелтевшую от времени, с золотым обрезом, посмотрите на свет терпкую плотность его письма — и вы увидите колечки «о», как дырочки сыра, разбросанные по прозрачному листу.

Какой сыр без дыр? — Какая проза без слез?

Гоголь, завершая «Мертвые души», видел прекрасное далеко России сквозь каменные ожерелья римских балюстрад.

Самое гениальное «о» мировой литературы — это колесо чичиковской брички, которым начинаются «Мертвые души». «Докатится или не докатится до Москвы?» — обсуждают мужики. А до Петербурга? А до наших дней? А далее?

Докатилось.

— **О**, поэзия... — повторяет Мур, — она высшее из искусств. Она связывает людей, она — прямое выражение духа.

— И музыка, — вставляет Джон Робертс, с которым мы приехали.

На пьедестале лежит огромная скульптура с двумя дырами, как тяжелые каменные очки с выбитыми стеклами, словно оставленные после себя гигантом. В них, как в выбитые окна войны, свищет музыка.

Я вижу другую оправу, нервные щеки и плоский нос, как костяной нож; для разрезания гениальных страниц.

Русская музыка стала главной нотой XX века — музыка Шостаковича, Прокофьева, Стравинского.

«**О**тветьте Шостаковичу».

Он позвонил мне в 1975 году. Мы не были знакомы до той поры. Позвонив, он попросил приехать к нему и подумать о совместной работе. Речь шла о переводе сонетов Микеланджело, самого скульптурного из поэтов.

Я приехал в его сосенные пенаты. Когда он отвернулся к окну, я увидел измученный его профиль.

Он, видно, только что подстригся. Короткая стрижка сняла весь висок и почти весь затылок. Слегка вьющаяся внизу когтистая челка держала голову, вонзалась в лоб, как темная птичья лапа — невидимая мучительная птица судьбы и вдохновения.

Он быстрым свистящим шепотом сообщил мне свою идею. Волнуясь, он мелко скреб ногтями низ щеки, будто играл на щипковом инструменте.

Той же мелкой дрожью дергался нагретый барвихинский воздух за стеклами террасы.

Та же дрожь щипковых, струнных слышится в третьей части любимой мною его Четвертой симфонии, где ничего не происходит, лишь слышится тягостный холод ожидания, что за ним придут, и как мороз по коже этот леденящий шорох — шшшшш.

Входила жена его Ирина Антоновна, похожая на строгую гимназистку. Потом он играл — клавиатура утапливалась его пятерней, как белые буквы «ш» с просвечивающимися черными бемолями, — он был паническим пианистом!

Две буквы «о» в его фамилии, как и оправа, лишь прикрывают его сущность. Он не был круглым. В нем была квадратура гармонии. Она не вписывалась в овальные вопросительные уши. Линия лица его уже начала оплывать, но все равно сквозь него проступали треугольники и квадраты скул, носа, щек.

Потом встречи длились и в Барвихе, и в Москве, и над бытовыми беседами, чаепитиями, дачными собаками стало возникать уже то неуловимое понимание, что возникает не сразу и не всегда, но предшествует созданию.

Шостакович — самый архитектурный из композиторов. Он мыслит объемом пространства, он не прорисовывает детали. Шостакович — эстакада, Достоевская скоропись духа. Если права теория о неземном происхождении жизни, то он был клочком трепетного света, невесть почему залетевшего в наш быт, — его даже воздух ранил.

На полярной станции «СП-24» над зеленой прорубью в палатке аппаратуры слушает лед бородач с гоголевской фамилией Гаврило. Он сутками, уйдя в наушники, бледный от страсти, отрешенно ловит кайф музыки льда. В наушниках музыка шорохов, касанье рыб, океана, небытия. Они шуршат, как уже знакомый нам зов «о». Он, как марафетчик, зовет меня приобщиться, познать свою страсть. «На что это похоже, Гаврило?» — «Ну, немного на органные звуки или как чайки кричат». И улыбается, вспоминая. В двадцатые годы поэт написал: «По городу, как чайки, льды раскричались таючи». Сейчас фанат музыки повторил это ощущение. Меня пронзила эта неслышанная доселе гармония шорохов, льда, небытия, напоминающая Стравинского и странные шорохи Четвертой симфонии.

Из затей с Микеланджело ничего не вышло, хотя я перевод сделал. Помню, он созвал к себе домой Хачатуряна, Щедрина, ну почти весь секретариат, и заставил меня им прочесть. Сам нервно, по-кошачьи чесался. Был доволен.

Но что-то там не успело, или певец уже разучил прежние тексты, или не заладилась новая музыка, но случилось так, что в Ленинграде на премьере исполнена была музыка с прежними текстами, которые ему хотелось заменить.

Он написал мне длинное Достоевское извинительное

письмо. Это была не только нота бережности и деликатности, за ней предчувствовалось иное.

Он задумал и рассказал мне замысел нового своего произведения, которое в уме уже написал на темы семи моих стихотворений, среди которых были «Плач по двум нерожденным поэмам», «Порнография духа» и др. Но записать он эту музыку не успел. Музыка осталась иным стихиям.

Дыра этой ненаписанной вещи слилась с дырами других не написанных им вещей и влилась в безмолвную бездну небытия, что нас окружает.

Он был так слаб в последние дни, что пальцы не держали листа бумаги. У меня хранится партитура его музыки к моему переводу, где дергающимся кардиограммным почерком написаны ужаснувшие слова: «Кончину чую».

Ответьте детству!

В какую дыру забросила нас эвакуация, но какая добрая это была дыра!

Частенько у нас отключали свет. Керосин жалели. Население нашего деревянного дома, мы все сидели на крыльце, озаренные ровным светом ночного бесплатного неба. Су-мерничали. Не матерились.

Курящие сидели на корточках, держа самокрутки двумя коричневыми от табака пальцами, большим и указательным, огоньком вниз. Когда затягивались, красным светом озарялись снизу губы, ноздри и морщины щек. Пухлые губы Мурки-соседки появлялись и исчезали из темноты, как в круглом зеркальце. После затяжки она мелко сплевывала, далеко цыкала сквозь зубы. От нее пахло цветочным мылом. Щуплый Потапыч, только что отмотавший срок, докуривал чинарик до края, почти обжигая губы.

Говорили, что прибыл состав с ленинградцами. «Доходяги», — жалели их.

Экономные сигарки скручивались из крупно нарубленного самосада. Газеты ценились. Табак рос на огородных грядках темными лапушными листьями.

К соседке ездил вздыхатель, пожилой шофер из летной части. Машину он заводил во двор, к крыльцу. Мурка выжидала.

Один раз он привез ей апельсин. Видно, их выдавали летчикам. Апельсин был закутан в специальную папиросную бумажку. Мурка развернула ее и разгладила на коленке. Коленка просвечивала сквозь белую бумагу, как ранее апельсин. На бумаге было напечатано круглое солнце с лучами и какая-то надпись по-грузински.

«Дар солнечной Грузии», — сказал Потапыч. Мурка сложила бумажку, как платочек, в четыре раза и сунула в карман ватника.

— На табачок хорошо, — сказала хозяйка.

«Хорошо через папиросную бумажку на гребенке дудеть», — подумал я. Я знал апельсины по первомайским демонстрациям и новогодним елкам.

Мурка дочистила кожуру до донышка, где мякоть образует белый поросячий хвостик. Кожуру положила в карман ватника.

Она ела апельсин, наверное, полчаса. Долька за долькой исчезали в красивой ненасытной Муркиной пасти. Когда осталось две дольки, она сказала мне: «На, школьник, попробуй». И дала одну. Скулы свело от счастья.

Рядом остывал мотор «студебекера». Сибирские сумерки пахли бензином и апельсинами. Этот запах мешался с запахом махорки, псины и молочным запахом тесового крыльца, только что вымытого горячей водой.

Потом они сидели, обжимаясь, в кабине, подсвеченные красным щитком, и слушали радио при включенном двигателе. Стекла они опустили, чтобы было слышно всем.

Шла трансляция из Ленинграда. Негромкая музыка была хриплой, режущей, непонятно страшной и великой — до кожи продирало.

Слушали напряженно. Лица все чаще озарялись и гасли. Поблескивал Тобол. Все, что они слушали, было про них, про их судьбы. Они не понимали всего, о чем писал композитор. Но все, что происходило с ними, со страной, стало музыкой.

Останавливались у частокола.

— Что такое передают? — спрашивали.

— Шостаковича, — не сразу сказала Мурка.

— Доходяга, а какую симфонию написал! — сказал Харитоныч.

Обрубок рельса висел на краю деревни. К нему вела скользкая обледенелая тропа. Он висел на огромном суку березы, на таком же светло-сером небе, висел как хмурый пугачевец или Франсуа Вийон российских рельс.

В тихую ночь он обманно поблескивал, как отрезок запретного отвесного пути к Луне.

Когда не видели взрослые, мы раскачивались на нем, а в мороз мгновенно, чтобы не примерзнуть, лизали языками. Он был обжигающе кислый на вкус.

Когда горели Чуркины, нас разбудил отчаянно чистый, сплошной, испуганный, часто колотящийся звон.

Бледная до посинения Мурка в огромной колючей шинели со своего солдата, брошенной на заспанное голое тело, лупила в рельс металлической плюхой.

В красном мгновенном мраке застыли фигуры с топорами и ведрами, в гипсовых подштанниках на полуголых телах.

Красный отсвет, как ободок, бился на рельсе. Рельс плясал в ночном небе, выписывая гигантские безумные буквы,

вопило набатной музыкой, шаталось древо из огненных букв.

— **О**, музыка... — добавляет Джон Робертс.

Мур не любит, когда его прерывают. Поэзия — высшее из искусств, — завершает он дискуссию.

И ведет нас осматривать мастерские. Это свободно расположенные павильоны, просторные, белые, как глянцевые обувные коробки, в которых хранятся колодки его скульптур. Вот лежит огромная знаменитая «Лежащая». Против нее у стены, изнывая и потягиваясь, примостился огромный слоновий бивень, сантиметров тридцать в диаметре.

— Ну-ка попробуйте поднять.

Я с трудом приподнимаю — тяжело.

— А каково такую штуку на носу носить? — смеется.

Отмыкать павильон ему помогает Анн, только что окончившая искусствоведческий. Она облокотилась в одной из его студий о верстак, и непроглядный рукав ее черного бархатного парижского пиджачка напудрился ввевшейся гипсовой пылью. Гипсовый локоть замирает в изгибе. Осторожнее, мисс, вы становитесь скульптурой Мура!

Открытая форточка прямоугольна и пуста. Где же ты сейчас носишься, черная дыра, перекасти-поле, перекасти-небо? Видишь, я совсем не помню тебя. Очень надо! Вот уже сколько белых прямоугольных страниц я ни разу не вспомнил о тебе. Я не помню о тебе утром, не помню днем, совсем не помню вечером.

Но зато ты научила меня науке воспоминания. «Вы, люди, чтобы увидеть прошедший образ, оглядываетесь на ту же точку, где он был. Но там его уже нет. Вы так ничего не увидите. Чтобы попасть в утку, надо стрелять на три утки

вперед. Прошлое летит перед вами. Смотрите в сейчас — и вы увидите прошлое».

Так, глядя в сегодняшние работы Мура, я вижу просвечивающие сквозь них вчера и сегодня.

Иногда ты пошаливала. Шутки у тебя были дурацкие. Подкравшись сзади, ты сталкивала меня в чужую память и судьбу. Я становился то Гойей, то Блаженным. Ну и досталось же мне, когда я забрался в Мэрилин Монро!

Отчаянно ревнива ты была!

Стоило женскому голосу позвонить, как ей из трубки в ухо ударял разряд. Глохла. Многие лысели. Стоило мне притронуться губами к чашке — ты разбивала ее. Особенно ты ревновала к прошлому. Ты сладострастно выведывала, вынюхивала память о моих давних знакомых. Ты озарялась. Как злобна и хороша ты была! Я подозреваю, что ты даже могла влюбиться из ревности, а не наоборот. Уже давно забывшие обо мне, ничего не подозревавшие мои знакомые вдруг теряли слова на сцене, разбивались на машинах, по рассеянности подносили спички вместо газовой конфорки к бумажному халатику и горели синим пламенем.

Окружающие осуждали. Завидя нас, вибрировали. «Чаще заземляйся», — посочувствовал проносющийся Арно и поспешно поднял стекло. Позвонила тетя Рита: «До меня дошли слухи, которым я не верю. Но чтобы не усугублять...» «...лять, ять, ять», — захулиганили феи телефона. Тут я вспомнил, что тетя Рита год как умерла.

Но сейчас даже отверстия в скульптурах не напоминают мне о тебе.

Отчего великим скульптором именно XX века стал сын английского шахтера?

Англия — островная страна, скульптурная форма в пространстве. Космонавт рассказывал, что Англия похожа на барельеф. Англичанин рождается с подсознательным мышлением скульптора. Надутые ветром белые парусники уже были пространственными скульптурами. Ставший притчей во языцех английский консерватизм тяготеет к замкнутой структуре. Традиционные английские напитки виски или джин с кубиками льда, погруженными в прямые цилиндрические бокалы, имеют скульптурную композицию.

Но не только место рождения сделало его скульптором века.

Этот дом свой, названный «Болота», служивший ранее фермой, скульптор купил в 1941 году, после того как его прежнюю мастерскую разрушила авиабомба.

Мур стал знаменитым в 1928 году, после Орлгстонской выставки. Необходимым, своим для миллионов людей он стал после рисунков «Жители бомбоубежища». Стихия народной беды и истории задула в трубы муровских дыр. Каждую ночь сто тысяч лондонцев прятались в метро от жесточайших бомбежек. Они приходили, располагаясь с вечера на платформах, со своими снами и незамысловатым скарбом.

Сын шахтера стал Дантом военного метро. Серия станковых рисунков, каждый размером около полуметра, была выставлена во время войны в Лондонской национальной галерее. Думаю, что это самое сильное, что было создано во время войны западным искусством. Обидно, что ни в одном нашем музее нет работ Мура. Ни разу он у нас не выставлялся.

Вот эти рисунки. Огромная дыра туннеля засасывает тысячи крохотных, оцепенелых во сне женщин. Следующий рисунок — крупный план. Открыв рты, закинув онемелые руки, четверо спят под общим одеялом. Цветное одеяло по-

хоже на волны времени. Сидящие рядом, как тутовые куколки, фигуры обмотаны пряжей пастельного штриха. Длинные волокнистые линии карандаша как бы опутывают их цепящей паутиной. Точка зрения выбрана художником снизу, как бы лежа или сидя рядом с ними.

Время не случайно выбрало Мура. Вся его художническая жизнь была как бы подмалевком к этим работам.

— Я увидел там сотни лежащих фигур Генри Мура, разбросанных вдоль платформ, — вспоминает создатель. — Даже дыры туннеля, казалось, похожи на дыры в моих скульптурах. Я очень остро осознавал в рисунках бомбоубежищ свою связь со страданиями людей под землей, — добавляет он.

Вот рисунок двух женщин. Есть замедленное величие в их тогах из одеял. Они напоминают фигуры фресок его любимого Мазаччо. Шнурообразный штрих походит на Дега. Иногда мелькают мотивы Сезанна.

Вся мировая культура ожидает гибели в туннелях бомбоубежищ.

Ночами Мур спускался под землю. Он бродил мимо заspanных фигур, по несколько раз прицеливался глазом, потом отходил в угол и украдкой делал крохотные наброски на конверте или тайном клочке бумаги — заметки для памяти. Он стеснялся смущать людские страдания своим соглядатайством. Виденное он переносил дома на ватман. Он работал пером, индийской тушью, восковым карандашом и размывом.

Мастер вспоминает, как он открыл технику рисунка. Но главного своего секрета он недоговаривает. Когда он нагнулся за рисунком, я увел его угольный карандаш. Он был без грифеля. В нем была спрессованная память, оправленная в деревяшку черная дыра. Но молчок! Пусть думает, что я не догадываюсь. Рассказывает же он так:

— Я нашел новую технику. Использовал несколько дешевых восковых карандашей, которые куплены в Вульворте. Я покрывал этим карандашом самую важную часть рисунка, под воском вода не могла размыть линию. Остальное без оглядки размывал и потом подправлял пером. Без войны, которая направила нас всех к пониманию истинной сущности жизни, я думаю, многое упустил бы.

То же оцепененье бомбежек оркестровал Элиот в своих «Четырех квартетах»:

В колеблющийся час перед рассветом
Близ окончания бесконечной ночи
У края нескончаемого круга,
Когда разивший жалом черный голубь
Исчез за горизонтом приземленья
И мертвая листва грохочет жестью.
И нет иного звука на асфальте
Меж трех еще дымящихся районов...

С дантовских перекрытий бомбоубежищ капает вода. Фигуры оцепенели в ожидании. Меркнет лампочка без абажура.

У меня затекает нога. Хочу повернуться, но тесно. Щеку шерстит мамина юбка. С бетонных сводов серпуховского бомбоубежища капает — то ли это дыхание сотен людей, становящееся влагой, то ли сверху трубы протекают?

Рядом клюют носом бабушка и сестренка. Бабушка всегда прихватывала с собой свою маленькую подушку, думку, как ее в старину называли.

Я, как самый маленький, лежу на матрасике, который мы носим с собой. В спину упирается что-то. В матрас зашиты нехитрые драгоценности нашей семьи — серебряные ложки, бабушкины часы и три золотых подстаканника. Во

время эвакуации все это будет обменено на картошку и муку.

Вокруг, захваченная врасплох сигналом воздушной тревоги, наспех отмахивается от сна, протирает глаза, достегивается, подтыкает шпильками волосы стихия народного бедствия. Реют обрывки снов. Воспаленно хочется спать.

Это в основном семьи рабочих. Наш дом от завода Ильича. Несмотря на пыль подземелья, многие наспех одеты в праздничные добротные вещи, в самое дорогое на случай, если разбомбят. Кончается лето, но некоторые с шубами.

Так на ренессансных картинах, посвященных темам Старого и Нового завета, страдания одеваются в богатые одежды.

Заходится, вопит младенец, напрягая старческую кожицу лица, сморщенную, как пунцовая роза. Распатланная мадонна с помятым от сна молодым лицом, со съехавшей лисьей горжеткой убаюкивает его, успокаивает, шепчет в него страстным, пронзительным нежным шепотом: «Спи, мой любимый, засранец мой... Спи, жопонька моя, спи».

Для меня слова эти звучат сказочно и нежно, как «царевич» или «зоренька моя».

В незавязанных ботинках девчонка из соседнего дома, связанная со мной тайной общностью переглядки, пыхтит, тискает щенка, хотя это и запрещено. Щенок спрятан в платок, но вылезает то серой лапой, то черным носом, как серый волк из сказки о Красной Шапочке. Бабушка Разина похрапывает, привязав к ноге чемодан с висячим замком, чтобы не уперли, во сне дергает ногой. Это напрасно. Никого не обворовывали.

Местный вор Чмур, изнемогая от бездействия, томится головой на коленях у жены, которая вдвое старше и толще его. «Чмурик, ну Чмурик», — успокаивает она его душу, как уговаривают вдруг заворчавшую во сне овчарку.

Мыслями все наверху. Все думают о небе. Там, в темном небе, перекрещенном прожекторами, словно широким андреевским крестом, идет небесный бой, оттуда каждую минуту может упасть бомба, и что могут поделывать эти женщины? — только ждать, их мужья в небе, на крышах, у песочных ящичков, среди них были и Шостакович и Пастернак, тушат зажигалки, там летят раскаленные осколки, чтобы мы назавтра собирали их, продолговатые и оплавленные по краям окалиной, как фигурки Джакометти. Тем же андреевским жестом, крест-накрест, были перекрещены клейкими полосками окна всех московских домов.

Дети бомбоубежищных подземелий, мы видели столько страшного, наши судьбы и души покалечены, кое-кто пошел по кривой дорожке — но почему эти подземелья вспоминаются сейчас как лучистые чертоги?

Первым чувством наших едва начавшихся слепых жизней было ощущение, конечно не осознанное тогда, страшных народных страданий причащенности к ним.

Мы бежим с матерью по меже мимо зеленого звона овов, я на ходу сдираю овсинки и, спотыкаясь, вышелушиваю пухлые молочнообразные зерна из длинных зеленых усов. Мы приближаемся к опушке.

Говорили, а может, ввали, что у немца далеко за лесом есть тайный аэродром, на котором он подзаправляется и летит бомбить Москву. Ополченцы прочесывали лес.

Вдруг среди бела дня он вылетел, почти задевая верхушки сосен, грохочущий «мессершмитт» с черным крестом, он летел, ковыляя, так низко, что мне казалось, будто я видел шлем пилота. Он дал несколько очередей по лесу и ушел на Малаховку. Мать столкнула меня и сестренку в канаву, а сама, зажав глаза ладонью, на фоне опасного стремительно-

го неба замерла в незащитном своем ситцевом, синем, сшитом бабушкой сарафане.

Он и сейчас ежедневно рисует. По утрам работает над скульптурой, после обеда отдыхает, а в сумерки, когда рука уже утомилась, рисует.

— У меня три причины заниматься рисунками. Когда рисуешь, можешь разглядывать людей, это наслаждение. Хотя и опасно. Когда я работал над портретом жены, я так наразглядывался, что это чуть не стало поводом для развода, — подмигивает он мне. — Второе. Это мгновенное искреннее впечатление. Третье. Это моя поэзия.

Рисующий останавливает мгновения, он торопливо останавливает на листе лица и судьбы, спасая их от исчезновения, выхватывая из наступающей тьмы небытия. Вот еще одну спас, вот еще...

Такова же цель моих поспешных заметок — хочется хоть как-то задержать, сохранить от быстротекущего распада лица друзей, живые черты — вот еще одна, вот еще...

Как дед Мазай вытаскивал ушастых беженцев из несущегося потопа, так и пишуший спешит сохранить чьи-то жизни и минуты. Лодка прогибается. Еще одна, еще, вон еще, вон рука торчит, еще, еще вытягиваешь... Дело осложняется тем, что, спасая чьи-то минуты, ты тратишь минуты единственной жизни своей. Это делает все серьезным, а не забавой.

Мне много раз спасали жизнь.

В 1946 году инженер плодосовхоза в Одоеве спас меня, уже захлебнувшегося и потерявшего сознание в водовороте. Я так вцепился ему в запястье, что остался круговой синяк.

Мне спас жизнь оперировавший меня хирург Рябинкин, румяный, с клинышком воробыиной бородки.

Олжас Сулейменов спас мне жизнь (и себе) тем, что превысил скорость и машина, перелетев кювет, перевертывалась уже на мягком лугу.

Меня спасли сибирские незнакомые ресторанные друзья тем, что, засидевшись с ними, я опоздал на самолет, который разбился с моим сланным чемоданом.

В страшные для меня дни ты прилетела на пару часов в Новосибирск, после этого сама ослепла на месяц.

Я вспоминаю всех, кто спас меня в тяжелейших ситуациях (как и каждого, наверное, спасают по многу раз за жизнь), тех, кто спас и забыл об этом, вспоминаю ваши ставшие родными лица, всю жизнь пробую вернуть вам долг.

Однажды мне спас жизнь редактор одного толстого журнала, назовем его здесь тов. О.

Неудавшиеся самоубийства часто вызывают юмор, это — тоже.

Судьба моя неслась с устрашающим ускорением. Я запутался. Никто не хотел печатать мое программное произведение. Я понял, что пора кончать.

Близкие знают, что я никогда не жалуясь (разве листу бумаги), не плачусь друзьям и подругам в жилетку, не изливаюсь, не имею привычки делиться на бабский манер. Бес тактно навязывать свои беды другому, у всех наверняка хватает своих.

Но тут подступил край. Непроглядная затягивающая дыра казалась единственным выходом.

Я попробовал собраться с мыслями. Разбухший утопленник не привлекал меня. Хрип в петле и сопутствующие отправления тоже. Я подумал о тех, кто придет. Меня, в ту пору молодого поэта, устраивала только дырка в черепе.

Я заклеил два конверта-завещания и пошел к седому теоретику, у которого был немецкий, сладко оттягивающий ла-

донь пистолет. «Дайте мне его на три часа, — объяснил я убедительно. — Меня шантажирует банда. Хочу поугадать».

Беззаветно лживые глаза уставились сквозь меня, что-то смекнули и вздохнули: «Вчера Ляля нашла его и выбросила в пруд. Слетайте в Тбилиси к И. Там за триста рэ можно купить».

Два дня я занимал деньги. Наутро перед отлетом мне вдруг позвонили от О.: «Старик, нам нужно поднять подпisku. У тебя есть сенсация?» Сенсация у меня была.

В редакции попросили убрать только одну строку. У меня за спиной стояла Вечность. Я спокойно отказался. Бывший при этом Солоухин, который знал ситуацию, крикнул, но промолчал. Помню участие Рекемчука и других членов редколлегии. Напечатали.

Держа свежий номер журнала или потом, заплывая в утренней реке, я думал, каким я мог быть кретином тогда — не увидеть столько, не узнать, не встретить утром тебя, не написать этой вот строки.

Мы редко встречаемся с О. Мы не близки ни в жизни, ни в литературе. При встрече со мной взор его гаснет. Но сердце мое наполняется веселой благодарностью ему.

Отчего российские ветры дуют в окна и щели этой английской усадьбы? Что за ностальгический сквозняк пронзает ее насквозь? Отчего именно в этих стенах меня одолевают родные воспоминания?

Ирина, жена скульптора, русская. Они прожили вместе более пятидесяти лет. Познакомив нас, Мур буркнул:

— Ну-ка, поговори с ним по-русски. Он, наверное, устал изъясняться на чужом наречии.

Сейчас она не может сопровождать нас, читатель, потому что лежит в мучительном гипсе с переломом ноги на втором этаже дома. Ее боль передается всем гипсам мастерских.

Русские музы в мировом искусстве XX века — особая тема. И Матисса, и Дали, и Леже, и Пикассо вдохновляли русские жены. Татьяны, Гали, Вавы, Нади, русые москвички и смолянки, каково вам было носиться над мировыми безднами, среди Лаур, Делий и Валькирий!

Ответь хотя бы, где ты носишься сейчас, тоскливая пере-кати-поле, перекасти-небо?

Окончив серию «Бомбоубежищ», Мур отправился на родину в Йоркшир, где спустился в забой, в глубины рождения и детства, и создал рисунки, посвященные шахтерам во время войны. Он рисовал в полной темноте. Мур впервые обратился к мужским фигурам. Труд шахтера под стать труду скульптора. Прорубаются тысячелетия, спрессованные в уголь.

Мрак. Свет фонарей из лба. Слепая белая лошадь. Сваи креплений. Голые мускулистые фигуры.

Мы идем за ними в прорубаемом коридоре. В проеме брезжит свет. Непроглядная стена рушится.

Иные пространства, иные люди. Встречные лица. Оранжевые, по форме, как грецкие орехи, подземные каски.

Мы попадаем в необлицованную металлическую трубу туннеля с поперечными ребрами. Поблескивают уже проложенные рельсы, много воды на стенах и под ногами. Два парня в касках толкают вагонетку с бетоном. Один оборачивается — у него лицо подпaska. В бытовке на столе рядом, за извествленной бутылкой из-под кефира, прислонены к окну два пакета с апельсинами. По восторженным непереводам родным оборотам речи мы понимаем, что идет строительство метро «Нагатинская».

Из темноты клубится сияние. Между прорабами, бетонщиками, лимитчиками, грунтовыми судьбами, как гипсовый

кулак, вздымается белая голова архитектора Павлова. «Перекосили!» — стонет он. Его лепные локоны сжимаются гневно, как пальцы. Он как лепная белая дыра носится по подземелью. Оказалось, не перекосили.

В спокойном состоянии зодчий похож на белый мраморный бюст Гете, если бы скульптор, оставив волосы беломраморными, лицо бы отлил в бронзе.

Среди мата, толкучки он несет сияние взгляда на закинутом лице, как официант над головами приносит на закинутой руке поднос с сияющим хрусталем, наполненным вожделенной влагой.

Это первая в Москве подземная станция с круглыми колоннами. Вот они стоят — скользкие, из белого мрамора под обрез, от пола до потолка.

Трудно было утвердить этот проект, осуществлять — адски. Строители отказываются от круглой формы — она невыгодна и трудновыполнима. Ни угрозы, ни деньги, ни поллитры здесь не властны.

Подходит рабочий. Столбовой творянин. Он полон какой-то невысказанной благодати. Ему надо, чтобы его поняли. Когда он приближается к колонне, белым отсветом наполняется его худое лицо, каждая морщинка вспыхивает. «Да ведь как сложно класть-то, — сияет он, дыша в сторону. — Одна плитка горбатенькая, другая пузатенькая. Подгоняешь. Ведь первая такая станция с круглыми колоннами. Надо не осрамиться. Еще никому не удавалось».

Оранжевые щиты забора ограничивают участок стройки. Выходим по шатким доскам в раскисшую от дождя глину. Вход уже замраморован. На нем проступают эмблемы «Спартак» и «ЦСКА».

Это иероглифы жителей XXI века. Им сейчас по двенадцать-семнадцать лет. Моя знакомая видела их орду в метро «Маяковская». Их было несколько сотен. Они высыпали

мгновенно из невидимых дыр XXI века. Они носились, бе-
сились, они прыгали, разминались, никого не трогали, хохо-
тали, мрачнели, никого не зарезали и исчезли. Отмахнуться
от них просто — надо попробовать их понять, ведь они из
числа тех, кто будет жить в следующем веке. Что за песни
споет их новый поэт? Что за музыка в них?

Блок скифов? Или блок с фильтром?

Отвалила. Намылилась и отвалила. Отвратительный, по-
вторяю, она имела характер!

Как-то сел у машины аккумулятор, я подсоединил ее.
Мы очутились в окрестностях Житомира.

В редкие минуты благодущия она демонстрировала мне
видения ведьм, российской истории и образы моего детства,
которые я сам не помнил.

— Покажи мне, что меня ожидает.

— О, для этого тебе надо было познакомиться с белой
дырой.

И опять взрыв агрессии.

Как-то я привел ее пообедать в наш клуб. Она высосала
немытые мысли всего ресторана. Потом долго болела. Я не
заметил, что в углу сидел протухший критик.

Ты ее не замечала. Тебя она, может быть, недолюбливала,
но не трогала. Примеряла без тебя твои платья. Брезгливо
брызгалась твоими духами, и брызги замирали на ней в воз-
духе, как огромный одуванчик.

Управы на нее не было. Как-то в сердцах я ее ударил.
Она не знала, что это такое. Вся засияла улыбкой. Она дума-
ла, что это новая игра. Мой ботинок завяз в ней. Когда я его
вытащил, он был покрыт жемчужной смеющейся пылью.
Потом она что-то поняла и замкнулась.

А уж как любопытна она была! Одно слово — баба. Она
лакомилась новостями. Прорва их в нее вмещалась. Любо-

пытство и подвело ее. Осенью ее украли. Заманили и умыкнули. Через два дня сами принесли ее назад в мешке, перекошенные от тока. Я посоветовал им зарыться в землю, чтобы электричество стекало. До сих пор их не откопали — видно, не все еще стекло.

Я любил, когда она созывала гостей. Обычно приглашала Бориса Годунова, чету Макаровичных, нос Наполеона и ножку Павловой — остального она у них не помнила. Борис Годунов хорошо пел, но очень уж боялся автомобилей. Нос сидел у него на плече, как попугай, подпевая. Ножка Павловой сидела за столом строгая и прямая, чуть кивая балеткой, как туго натянутой шапочкой для душа. Угощала она телячьими запеченными окороками и лососиной, которые помнили по натюрмортам Эрмитажа.

Как-то в лифте сексуальный маньяк, маскирующийся сумкой с инструментом Мосгаза, хотел трахнуть ее по голове гаечным ключом. Его так садануло током, что он, повибрировав, превратился в злобную растерянную энергию, которая на некоторое время увеличила скорость лифта. Через секунду лифт успокоился.

Ах, алкаши из Мосгаза! Опять сумку с инструментами в лифте забыли...

Однажды я предал ее. Но не мог же я везде таскать ее с собою! У нее в запасе была вечность, моя же жизнь была коротка.

Я сказал, что иду в контору, запер ее, а сам зарулил в гости. Когда я вывалился, напротив подъезда стояло такси с включенным счетчиком и отключенным шофером. В темноте машины я узнал ее мстительный взгляд. Дома, встретив, она ничего не сказала мне, но телефон неделю не работал.

Иногда она исчезала по своим цыганским непроглядным делам. Сначала я волновался, искал ее, боялся, что ее со-

жрут иные стихии и поля. Я оставлял форточку открытой, и она возвращалась. Я это узнавал по отключенному телефону.

Отлично работает телефон. Откровенно говоря, я рад, что от нее избавился. Возбужденные спелые кошки безопасно набираются солнца. Над Переделкином режут самолеты. Никто не портит настроение.

Но какая-то пустота сосет под ложечкой, будто дыра какая тянет. Уж не сидит ли во мне самом какая-то темнота, карамазовщина, роднящая меня с ней?

Я связываю это с тоской по оставленной архитектуре.

Не заводите вторых профессий, второй страсти, второй семьи. Вас будет сосать вакуум. Ночью вы будете путать имена. Вы начнете мудохаться с витражами. Провоняете дом эпоксидкой, но вас все равно будет тянуть.

Мне рассказывали, что мой друг-поэт мечтает, чтоб я вернулся в архитектуру. Этого же хотела бы моя мать, правда по иным причинам. Ей хочется для меня режима и уверенных потолков. Мне снятся архитектурные сны.

Люди занимаются архитектурой не только из утилитарных соображений, а для того, чтобы заполнить пустоту, преодолеть пространство небытия, черные дыры, бездны, окружающие жизнь. Как спрессованное будущее, противостоят им белые колонны Парфенона, столп Ивана Великого, «белые дыры» стадионов.

Мне снится какая-то мраморная крона.

Отозвав меня в сторонку, слабо улыбнувшись, будто по малой нужде, Мур заводит меня за вертикальную мраморную плиту.

— Я знаю, чем вы интересуетесь. Ее здесь нет. — Он проводит ладонью по нагретой от солнца плите. — Она здесь была. Вот ее место в камне. Она из породы блуждающих черных дыр. Они улетают. — По лицу его пробегает тень. —

Она была любимой из моих созданий. Поинтересуйтесь-ка у Пикассо. Он мог переманить. Он — пожиратель дыр.

Я заметил, что он не сказал все это вслух, словами, а передал посредством мыслей. «Не так-то прост этот садик», — подумал я.

Но Мур, подмигнув, через секунду уже превратился в классического Мура, его глазенки-незабудки озябли и спрятались под мохом бровей.

Окошко, круглое окошко домика на горе, прилепившегося, как известковое птичье гнездо. Уж не оттого ли круглое, чтобы удобнее было залетать? А для тех, кто не умеет летать, черные перила лестницы ведут в спальню второго этажа.

Как спят гении?

Может быть, на ковре-самолете, или на метле, или на шаре, или на эластичном матрасе, наполненном вместо ваты пружинистой водой, или в постоянном состоянии невесомости они приклеиваются снизу к перине, парящей над ними?

Вы спали в кровати Пикассо?

Не отчаивайтесь, если нет. Вы проворочаетесь всю ночь, вы очей не сомкнете. Квадратная низкая кровать — в правом углу, она заполняет половину такой же квадратной спальни. Слева дверь в ванную. На полу длиннорунный палас его работы. Под лампой на тумбочке альбом его грациозной эротической графики. Кровать не хочет подминаться под вами, она помнит, как когда-то прогибалась под ним.

Давно ли вы лежали в той же позе лицом вниз, содрогаясь от рвотных спазмов?

Не топлено. От командорских известняковых стен несет стужей. Ледяные колючие простыни вонзаются в спину и икры.

Очень широкая эта кровать.

Пикассо не был большого роста. Что он, катался по ней из угла в угол, что ли, согреваясь, как бешеный колобок?

Вы по несколько раз бегаєте в горячий душ согреваться. Как страшно ощутить босыми ступнями скользкие, стоптанные, засаленные его туфли. Непроглядная нетрезвая темнокожая мировая ночь спит, ворочается, темнеет, проборматывает во сне вздохи чужого языка. Дышит рядом с вами. Разметавшись, спят Парижи, небеса и инстинкты.

Вдруг вы видите, как пустые шлепанцы сами без ног скачками шмыгают в ванную. Под дверью загорается свет. Шумит вода.

Вы нажимаете кнопку света на тумбочке, но кнопка сама вдавливается на мгновение раньше и свет зажигается на миг раньше, чем вы ее нажали. У вас зубы стучат, вас колотит озноб, хоть вы и уговариваете себя сами, что это от холода.

Так тихо, что слышно, как внизу, на первом этаже, в гостиной, дрожит, звякает таким же ознобом стеклянная посудная полка. Как в поезде.

На стекле полки подрагивает серебряный выводок маленьких лебедей.

Он мастерил эти маленькие лебединые фигурки из алюминиевых крышек от бутылок минеральной воды. Крышечки французских минеральных вод, как и наши московские водочные, имеют язычок для открывания. Надорвав и вытянув язычок, он получал голову и лебединую шею. Потом он сминал крышку пополам боками вверх, так что получались крылья.

Серебряная лебяжья стая скользит по стеклу. Продолговатая стеклянная полка распрямляется в овал озера. Звучит Чайковский, Чайковский...

Но не «Лебединое озеро» звучит, нет, а Первый концерт, которым он встретил меня в 1963 году.

Припоминая пустые залы,
с гостьей высокой, в афроприческе,
шел я, как с черным воздушным шаром.
Из-под дверей приближался Чайковский.

В комнате жара. Кажется, вот-вот проступит смола из высоких черных спинок испанских стульев. То ли топили, то ли он сам нагревал весь дом жаром своего печного пышущего тела.

Пикассо был полугол, в какой-то сетчатой майке, как загорелый желтый бильярдный шар, крутящийся в лузе.

Лицо его уже начало обтягиваться книзу, появилась горькая осунувшаяся тень, отчего еще сильнее выделились выпуклые, широко расставленные глаза. У Пикассо была теория — чем шире расставлены глаза, тем человек талантливее. Он был гений.

Его глаза торчали навывкат, вылезали из лба, казалось, будто интеллект изнутри выдавливал глаза пальцем.

— Жаклин, Жаклин, погляди, кто явился к нам! — завопил он в шутовском ужасе, вращая стрекозиными глазами. И, ерничая, добавил, поддевая гостя: — Ну-ка, включи ТВ. Наверное, его уже показывают. Смотри, какой он снег привез.

Вошла смуглая Жаклин в упругом зеленом платье. Вошел, замер и кинулся лизаться пес Кабул, белая плоская гончая со шучьей загадочной улыбкой.

И началось. Он буйно показывал озаренные зеленым холсты, и везде были Жаклин и пес. Он буйно поволок в подвал, где в дьявольской преисподней гаража дымилась его скульптурная мастерская, стоял орангутанг из металлолома, с головой из капота «Шевроле». Млели белые купальщицы с мячом, те самые, которые так повлияли на раннего Мура. Во всем была бешеная поспешность жизни, страсти, все

было озарено его счастьем последней любви, последней пылкой попыткой жизни. В доме пахло любовью. Предметы имели ореолы.

Если следовать звездной классификации, Пикассо был «белой дырой».

Это волевые натуры, в которых спрессованы сгустки будущего, память не о прошлом, а о будущем. Обычно это строители, оптимисты, борцы за правое дело. По гороскопу они часто быки.

В отличие от ностальгических черных они победоносны в форме, порой в эмоциональности уступая им. Дело не в размере, а в качестве таланта. Классическими черными дырами были Блок, Лермонтов, Шопен, белыми — Шекспир и Эйнштейн. Я не встречал более таких доведенных до абсолюта «белых дыр», каким был Пикассо.

Космонавт, заколачивая в лузу белые шары, рассказывал мне о невесомости:

— Там у стола нет ни верха, ни низа... Режу на полшара!.. Можно подплывать к столу с любой стороны... Хорош своячок. Сейчас мы его нежненько... Чтобы люди не сдвинулись в сознании, остаются условные верх и низ. Нам спроектировали комфортабельные кресла со спинками, мягко поддерживающими усталое тело. Но что поддерживать, если нет притяжения?.. Сейчас зайчиков влупим. И сами себе поставим... Мы, конечно, эти спинки отменили. Психика еще не освоилась с полной свободой от притяжения... Ах, заман. Жаль.

Меня удивляет, как далеки от действительности некоторые наши романисты, у которых последнее время все героини стали летать.

Их ведьмы летают вверх головами, опустив центр тяжести и другие дела, будто на них еще действует закон притяжения.

Я отчетливо помню, как ты поутру улетала от меня. Ты удалялась попросту, по-нашему вниз головой. Как будто твое отражение. Обратив лицо вниз, к земле, не отводя от меня прощального взгляда.

Над тобою, будто ты подвешена к ним и они уносят тебя, плыли белые тувельки вверх полукаблучками, срезанными наклонно, словно трубы удаляющегося теплохода.

Пикассо мог все. Он преодолел притяжение. Он преступил бездну. Может быть, в этом была его трагедия.

Он не давал мне опомниться. Тащил, оглушал вопросами, чтобы я только не успел прорваться с главным вопросом, вертящимся на языке. Я уже вроде бы начал: «А не видели ли вы, маэстро...»

Но он затыкает мне рот, попросив прочитать «Гойю» по-русски, и, поняв без перевода, гогочет вслед, как эхо: «Го-го-го!..»

Потом он обжирался дырами.

Склонив набок голову, зажмурясь, он со смачным всхлипом, причмокивая языком, высасывал дыры из черно-лиловых мидий. Стол вокруг него был завален их раздавленными скорлупами с микроскопическими бороздками, как покоробленные осколки грампластинок, на которых записано море. Он шинковал ломтями золотые пахучие дыры дынь, называемых у нас «колхозницами». Затем, опорожнив, выковыряв дыру из банки, он намазывал на ломоть белого хлеба тонким слоем дырки черной икры, так что ломоть становился похожим на маленькое решето. И наконец, подмигнув, высасывал ароматную дыру из темного горлышка пузатой бутылки, оплетенной прутьями, как корзина.

Когда он проходил, дыры шмыгали и забирались в норы. «Тссс? — слышался восхищенный шорох. — Идет пожиратель дыр».

Чревоугодник, он жадно втягивал в себя все новейшие течения в искусстве, опорожня мастерские других художников, он присоединил их к своей империи, через них втягивал в себя будущее.

С особым вкусом он показывал керамику. Томилась пельница в виде слепка женской груди. Хохлились знаменитые голуби. Он торопился внести красоту в ежедневную жизнь всех. Той же идеей красоты для всех мучимы были Врубель и Васнецов в абрамцевской майоликовой мастерской. Это искуc нашего промышленного века. Самая массовая буква «о» одновременно и самая орнаментально красивая из знаков.

Голубка Пикассо свила свои гнезда в миллионах халуп.

Если бы он одну только «Гернику» написал, он уже был бы художником века. Пикассо был самым знаменитым из всех живших на земле художников. Он не имел посмертной славы. То, что обычно называется ею, он познал при жизни. В этом он преодолел смерть.

Пикассо жаждал знать все.

Вращая, как шарообразным сверлом, своим мозолистым глазом, он вытягивал из меня информацию о публике, бывшей на моем вечере.

— Они же не умеют слушать стихи в театре, — бурчал он.

Мне хотелось не самому рассказывать что-либо ему, а его слушать. Но и видеть, как он слушает, как меняется в лице, было наслаждением.

На моем поэтическом вечере, состоявшемся в театре «Вьё Коломбье», справа в зале сидел Бретон с ватагой, слева маячил белоснежный пик Арагона с товарищами. Два поэтища, когда-то братья по сюрреализму, теперь они смертельно враждовали. Зал был похож на омут с двумя

плавающими ножами. Если справа хлопали, слева закручивался вакуум тишины. И наоборот. Это вообще был первый вечер русской поэзии в театре Парижа. Там ранее не было традиций поэтических вечеров. Поэтому так полярно разнообразна была аудитория. Восседали мэтры, бушевали студенты, шуршали шумные платья мемуаровые. Зал, как корзина для голосования, полная черных и белых шаров, был доверху полон белыми и черными дырами людских судеб. Снаружи ломились, напирала шары судеб, не попавшие в зал.

Рассказанное и виденное исчезало в утробе Пикассо. Он, урча, вбирал информацию о московской художественной жизни, которую знал лишь понаслышке, с трудом разбирая незнакомые ему длинные русские фамилии, — еще! еще! — жаждал вобрать всю энергию века, одним из строителей культуры которого он был.

Да здравствует культура XX века, которую не сжечь, не расстрелять, которая существует! Да здравствует бешеное бессмертие ее мастеров! В потоке мирового сознания по ней, по этой культуре, — по кому же еще? — найдут и вспомнят о нас с вами, о нашем веке.

Век стер многие страницы. Намечается новая общность людей — творяне, как назвал их на заре века поэт: «Это шествуют творяне, заменившие Д на Т». У каждого из них за спиной свое трудное Т — такой формы был крест первых христиан.

Блажен, кто посетил сей мир
в его минуты роковые.

Блажен творянин Ефремов, жилистый и мосластый, как бурлак, который, зажав пальцами язву, тянет великую лямку театра!

Беловежский творянин Бедуля, сломав ногу на ухабах, поднял ее античную гипсину, несется на костылях по полям, наклонясь вперед, будто он целует эту землю.

Потомственный творянин Капица, светясь по вечерам, приходит в миллионы квартир.

Похожий на генералов-усачей 1812 года курганский творянин Гаврила Илизаров, Мур наших костей, выращивает, как волшебные каллы и ландыши, новые живые голени, ступни и кисти. Нервные узлы расцветают, как орхидеи. Очастливленной женщине он вылепил новое рубенсовское бедро. Сейчас он, как бамбук, выращивает позвоночник.

Отсутствующий палец вырастает на глазах в белую дыру кости, затем обрастает плотью, и на конце его, как лепесток, распускается ноготь.

Теория не поспевала. Но руки и ноги стремительно росли.

В жизни он то хмуро-сосредоточен, то жаждет шумного общения. Обожает чудесить с картами. Под его добродушными усами черви у вас на глазах чернеют в пиковки. Я, как и все, сначала не доверял ему, но потом несколько раз из колоды, перемешав ее своими руками, вытаскивал четыре дамы.

В Кургане я пошел в первый класс. С тех пор, может не без его чар, деревянный одноэтажный городишко вырос в девятиэтажный центр с клиникой, которая дает ошеломленному миру уроки магического материализма. Маячит элизум теней — работает Илизаров.

Смоленский творянин Твардовский с наплывшим, как слеза, лицом, высоким голосом пел на всю Европу свою родословную песнь: «Там и утром все дождь, дождь...»

Мои стихи, конечно, не были ему близки. Он напечатал

«Тоску» и «Не пишется», то, что ему было ближе, и для того, чтобы поддержать меня в трудные дни. Он чувствовал ответственность за всю литературу.

Осовелым, завистливым взглядом следят за творящими упыри.

По ночам на запущенном кладбище вздрагивает крышка гроба. Зеленая рука, как ящерица, выскальзывает из щели наружу, открывая гробовую крышку. Черные норы проваливаются в холмиках могил.

Как сова, встряхнулась урна старого колумбария. Сдвигается крышечка. Из маленького жерла вылетает прах мерцающим роем. Так некогда из жерла вылетал прах Лжедмитрия. Рой обретает очертания тел, материализуется — появляются лжепоэты, лжегерои, лжепередовики производства. Упыря можно узнать по тухлому взгляду. От его взгляда киснет молоко и увядают молодые поэты. Он внешне энергичен, он делает карьеру, он пробует быть обаятельным. Но люди не любят его, инстинктивно чуя, что под кислым перегаром скрывается сладковатый запах мертвечины. Люди холодны к его «творениям». Он не может ничего построить и сотворить, от этого он ущемлен и ненавидит тех, кто творит и строит.

В ампирических рамках мерцают портреты великих упырей — тех, кто опробовал кровь Пушкина, кто надел удавку на открытую шею Есенина, кто угробил Мандельштама, чтобы долго сосать их кровь. С брезгливостью взирают портреты на своих последышей. Где вы, богатырские упыри, перед которыми содрогались восхищенные народы? Нет, не тот пошел упырь. Мелок, склизок, как летучая мышь с детскими пальчиками. Завидуют. Плетут клевету, интриги, гнусь. А это

кто шустрит за столом? Кто следующий на повестке ночи? Уж не наш ли это осведомленный критик? Он водрузил на стол тяжелую дубовую доску с прорезанным круглым очком посередине. Просунув голову в очко, он, как собака из конуры, вещает: «Водопроводы всё, унитазы... Забыли мы классические традиции!» Взволнованный, под жидкие аплодисменты уходит к двери. «Куда?» — подозрительно спросили. «Волгу» прогрею. Вьюжит. Да секретку проверю». Через полчаса из туалета доносится вороватый шум спускаемой воды. Не тот пошел упырь. Нет чистоты убеждений.

Уханье, хлюп, храп. Осторожнее, читатель, не шурши платьем. Услышат. Заметили!

Мерзкие глазенки оборачиваются на вас со злобой и страхом, скользкие мышинные пальчики тычут в вашу сторону.

Погоня. Чур меня, чур!

Упыри преследовали Пикассо. Он должен был покинуть Испанию.

Тореадоры специально приезжали на юг Франции из Испании, чтобы устроить для Пикассо корриду. Он рисует на книге, которую дарит мне, быка и пикадора. Это его автопортрет, потому что художник всегда и пикадор и бык одновременно.

И вдруг я заметил, как жадно и жалостливо мелькнул его зрачок, и я понял, что век столетия истекает, но через секунду он уже хохочет и, подмигнув, рисует мне деда-мороза.

Осыпается небо.

Я привез снег в Антиб.

Темные зеленые рощи изумленно ежились, как крупной солью пересыпанные снегом.

Мы вышли на морозную террасу. Наконец мы одни. Его слова были окутаны паром. Пар исходил не только из губ

его и ноздрей, пар шел изо всех пор его горячего тела, гневного столба его жизни, все тело его клубилось на морозе.

Так же под ярким синим небом, отходя от неожиданного снега, дымилась разомлевшая земля. Пар шел от мокрых скамеек, дымилась и остро,пряно пахли мокрые веники лавровых и апельсиновых кустов, ошпаренных снегом и потом солнцем. Дымилась банная деревянная шайка замка под горой. По розовым разомлевшим дорожкам, как клочок белой мыльной пены и пара, носился счастливый пес.

В бане люди откровенны. Сейчас я спрошу его.

Не подозревая, что они ему позируют, внизу, под горой, млели с ручейками между лопаток женственные стены домика из розового известняка. Шла великая парилка. И далеко внизу, скорее угадываясь в тумане, млело море, дымящееся, как Ватерлоо старинной гравюры, бездонная загадка существования, история.

А надо всем этим слева от меня торжествовал, кричал, дымился жизнью гениальный банщик с ровным клочком как будто мыльной белой пены вокруг загорелого загривка. Он весь был окутан паром, порой только веселый и отчаянный глаз проглядывал в просвет между белыми клубами.

Я отвернулся, следя взглядом за буксовавшей машиной, газующей на нижнем шоссе.

Когда я опять обернулся к нему, рядом со мной стоял столб пара. Пар рассеялся. Пикассо не было.

Я обернулся через двадцать лет.

Отверстая черная дыра затянула его, неужели и его тоже?

Отдохнем, мой читатель. Оторвемся в глушь.

Сейчас такой июнь и омут!

Скрывшись от посторонних глаз, как волшебный столб-няк фиалок на полуметровых стеблях, цветет баснословный остров молодой сильной лесной крапивы.

Этого не видишь у затурканных дачных крапив.

Лесная крапива дает сильные лиловые цветы, размером похожие на фиалки. Они растут столбцами, как гиацинты, вокруг стеблей. Каждое соцветие формой напоминает лиловый львиный зев. Я заметил, что цветут только молодые крапивы с мелкими листьями. Орясины с большими листьями цветов не дают. Я очень люблю эти заповедные цветы.

В них есть блеклая гамма Борисова-Мусатова, острая зелень Гончаровой. Они напоминают угрюмство молодой Цветаевой. Потом она гибла от быта, мыла посуду, имела колючий нрав, но цвела упрямо и заповедно. Люблю эти цветы.

Давайте я нарву вам, милый читатель, дикую охапку крапивы, она молодая, не так жжется, это будет с ней потом, когда ожесточится.

Вы поставьте этот ворох в ведро с водой, лучше колодезной.

После первых гроз красиво
фиолетово цветет
некрещеная крапива —
розы северных широт.
Иностранцы и кассиры
не познают до конца,
в чем скрывается России
ведьмовидная краса.
Будет в доме изумленном
острый запах красоты
и лиловые с зеленым
декадентские цветы.
Этот омут декадентский,
притаившийся в шипах,
так похож на нрав твой женский
в фиолетовых шелках.

Тебе много ломали цветов, черемухи, роз, я и сам наламывал тебе сирень, но уверен, что никто не дарил крапивы, — а ведь как свежа и хороша! Я дарю полную охапку, вон девчонки у речки смеются — мужик крапиву рвет, наверное, лечится, я рву, я дарю ее вам, переполненную охапку, уже рук не хватает, столько ее вокруг. Я дарю вам всю опушку, весь остров дарю, да и что там — все оставшееся...

В траве прошелестел Осведомленный критик.

Очень может быть, что ты мстишь мне, насылая на меня как радиопомехи всякие воспоминания. Или я заразился от тебя, подхватив бациллу памяти? Какой бы поступок я ни совершил, одновременно происходит со мной уже бывшее в моей нынешней или прошлой жизни. Где-то ты носишься, как темный спутник связи, посылая мне через себя непрошеное прошлое? Сам процесс памяти для меня связан с тобой, он представляет тревогу и, не скрою, наслаждение. Кого бы я ни вспоминал, вспоминал тебя. Как ты, наверное, там мстительно торжествуешь — я не расстаюсь с тобой.

Без тебя все слова как без воздуха, и страницы — как душны стены без дыр и окон.

«Отец мужчины — детство», — читаем у Вордсворса.

Я родился в Москве. Но с детских лет мое московское «а» обкатывалось круглым «о» володимирской речи.

На моих глазах овальная музыка речи обретала форму.

Так же округлы были холмы над рекой, облака, праздничные яйца, крашенные суриком, золотом и жареным луком. Овальным, завершенным был уклад жизни и скорлупы лесных орехов, которые мы собирали огромными корзинами, а потом сушили на крыше. Собирать орехи радостно. Не надо сгибаться. Когда берете гриб или ягоду, надо сначала

поклониться, как бы благодаря их за то, что берешь. Брусники же вообще собирают на коленях.

Орешник по росту вам. Впрочем, лесные орехи круглы-то круглы, но имеют сверху шлемовидное завершение. Они растут на ветках кучками, по четыре-пять, прижавшись один к другому, каждый в своем зеленом гнездышке. Их светлые запылки торчат из зеленых гнезд, как выглядывают из зелени на холмах уменьшенные далью пятиглавые соборы.

Сродни этой плавности была широкая окружность огромного города, из которого я приехал, образованного семью холмами и двумя кольцами — Садовым и Бульварным (в отличие от прямоугольной планировки Ленинграда или Нью-Йорка).

Свердловчанин Севастьянов рассказывал, что из черного космоса Москва выглядит ромашкой с круглым центром и лепестками новых кварталов, оборванных, как при гадании «любит — не любит».

Я знаю наклоны, повороты и подъемы этого города сердцем и кишками, не раз прогнав по Садовому на велосипеде.

Сейчас много и правильно говорят о душевной общности и стиле литературных школ — вологодской, сибирской и т. д. Думаю, что философам нашим надо подумать о душевном складе и стиле мышления уроженцев Чистых прудов и Замоскворечья.

Сердце так же стонет, как от порубленной рощи, от снежных кварталов и оград.

Арбат — это наш Вишневый сад.

Что ты хочешь сказать, насылая на меня эти круглые воспоминания, зачем ты хочешь закружить меня?

Отрочество и детство мое прошли на Большой Серпуховской. Лиричность владимирского зодчества отразилась в полутопленных арках зала метро «Добрынинская» — самой

сердечной из московских станций. Она, как владимирская бабушка или мамка, стояла на выходе из моего детства, будто приехала в столицу присматривать за ним. У всех были свои Арины Родионовны, у меня — эта.

Архитектор Павлов, прежде чем нарисовать ее, провел ночь в июле 1945 года с церковью Покрова на Нерли — самой женственной кувшинкой русской архитектуры.

Тогда рядом с нею существовала колокольня. В ней сушили сено. Сторож разместил Павлова на ночлег на этом поднебесном сеновале. Затаившись, не дыша, он сверху наблюдал за изменением ее состояний. Ее светлые дуги отражались в воде. Два ее рассветных часа волшебны.

Сначала она была сумеречно-серой, потом стала голубой. Потом зарделась смущенным розовым. Затем обрела ровный желтый спокойный свет. «Это как женщина, все познавшая», — взволнованно рассказывал он, воровски пряча свой голубой взор, теперь понятно, откуда похищенный. Потом она стала белой.

Приехав в Москву, он за один вечер нарисовал проект станции. Его потом крепко прорабатывали за поклонение древнерусской архитектуре, а заодно почему-то и западной, конструктивизму, что в те годы считалось чуть ли не изменой родине. Но она уже была построена, и навеки в ее подземных залах отразились белые и палевые очарованные очертания Покрова на Нерли. Одни из первых моих стихов были об этом храме, и даже теперь, когда он стал туристическим объектом, свет его неиссякаем.

Во Владимирской области на границе с Горьковской есть места с дурной славой — это обычно низины с заболоченным хмурым пейзажем. Там даже местных жителей начинает «водить». Вы кружите полдня по лесу и потом выходите к тому же месту как бы под тяжелым гипнозом. Народные суеверья относят это к влиянию ведьм и русалок. Что ты во-

дишь меня по кругу, плутаешь, путаешь меня в чащобах памяти, возвращая все к тем же воспоминаньям?

Ориентировалась ты по излучению. У тебя не было глаз, ушей, чтобы узнавать цвет или звук. Порой ты забиралась в кого-нибудь, как кошка в старую туфлю, и из него наблюдала мир.

Однажды ты вселилась в школьницу, напялив ее на себя, как комбинезон. Ее ноздрями и зрачками ты поняла, как пахнет белый гриб, как красна рябина. Ты проникла в мир наших первичных ощущений, для тебя наивных и свежих, как Пиросмани. Этот мир увлек, влюбил тебя.

Во время сдачи прыжков на норму ГТО школьница невзначай зыркнула на трех зазевавшихся кошек. Те сникли под ее взглядом. Школьница взлетела без шеста на четыре сорок, однако, взлетев в зенит, увидела под собой изумленные лица, поняла, что, видно, делает что-то не то, и с половины прыжка скромно вернулась к исходной точке.

Но на уроке истории школьница ляпнула две фразы, в бездне информации которых утонул учитель. Он свихнулся. Тебя увезли в «скорой помощи». В унылом доме, куда тебя привезли, санитары не верили тебе, что Петр Первый был сыном Никона, и оказались противниками 17-го уравнения Бора. Вырываясь от них, ты порезала руку о пробитое окно, как рвут брюки, пролезая через забор. Ты была в крови, было больно, по-человечески отчаянно, ты была в смятении — ты побежала по проволоке электропередачи вдоль загородного шоссе. Под тобой бежали санитары, толпа, выли сирены.

Ты не понимала, в чем дело. Ты приносила людям, в которых радостно вселялась, несчастья: Потом ты вселилась в поэта Репкина. Он написал гениальную поэму. Но все опять кончилось плачевно — он развелся.

Обиженная шаровая энергия освобожденно летела над рекой.

Оказывается, что я всю жизнь как бы готовился к встрече с тобой. Не могла же ты подтасовать все эти кругляшки в моей памяти?

У деда в саду было два улья. Над ними кружился золотой гул в форме роя. На речке дед учил меня плести корзины из лозы, — согнутые в дуги, стояли остовы для корзин, как овальные рамы, белые и скользкие прутьевые рамы речного пейзажа.

А вечерами дугою вытягивалась гармошка, а в последние годы трофейный аккордеон. Крашенная перекисью проглядь-продавщица с синими наведенными бровями и в трофейных чулках с черным швом, поддавшая, но еще в норме, выходила из круга и, сдав подруге на хранение лаковую сумку, подбоченивалась кренделем и кричала частушку. Ее восхищенно-непечатная речь отличалась речным вольным воздухом от нахмуренного блатного фольклора многоэтажных дворов. В самой жизни, как бы тяжела она ни была, незримо присутствует светлый рублевский овал, созданный, как известно, в години народных бедствий, когда жгли города и живьем по пояс закапывали людей в землю.

На попутном грузовике по знаменитой Владимирке мы приезжали в город с белым кремлем на холме.

Белокаменный проем арки гениальных Золотых ворот обретал форму О, по пояс врытую в землю.

Одолело виденье!

Одутловатый медвяный образ преследует меня.

Отстань! Я прилеплю тебя к этой странице, чтобы ты от меня отцепился.

Круглых дураков мне не встречалось, зато овальных хва-

тает. Зайдешь к нему, к редактору, в кабинет. У него абсолютный вкус убийцы. Его глазки мгновенно сужаются, найдя лучшую строку. «Гениально», — сладострастно стонет он и вычеркивает ее. У поэта Вентилянского есть тетрадь вычеркнутых им строк из разных авторов. Это целая антология.

Моя знакомая, талантливый критик, была в восторге от одной повести. Она трепетала и цепенела. «Почему же ты о ней не напишешь?» — «Мне никто не заказал статьи», — вздохнула. Как будто Толстой ждал заказа на свое «Не могу молчать!», а Булгаков дожидался договора, чтобы начать своего «Мастера»! Думаю, что у меня не было бы ни одного стихотворения, если бы я ждал на них заказа редакций журналов.

Судьба чаще заносила меня в круг добрых людей, — это высоченный, из породы переделкинских сосен, недосягаемый энциклопедист Чуковский; это домашний Маршак с плотно прихлопнутым ртом, похожим на сказочный кошелек, набитый золотыми монетами слов; это первый силач из московских поэтов Коля Глазков, в объёмку боровшийся с зеленым змием.

В Наровчатове была голубоглазая грузность екатерининских военачальников. Его окутывала пороховая и волшебная дымка российской истории. Его серый пиджак бывал помятым, порой облеваным, но мне всегда казалось, что его согнутая в локте рука держит треуголку и жемчужный фельд маршальский жезл. Легкая одышка напоминала о тяжелых перевалах судьбы. Пил он страшно. Стрелял трояки.

Отношения у нас были заповедными. Когда-то он побранил меня в статье. Озлившись, я печатно обозвал его Нравочатовым. Другой бы мстил. Но он был творянином. В нем была широта. Мы встретились и говорили о судьбе и истории, он сказал, что не все понимал, поделился замыслом

своего рассказа о диспуте с Иоанном Грозным, подначивал меня опробовать прозу. В его взоре синела смущенная нежность художника и книжного княжича. Он напечатал наиболее дорогие мои вещи и написал в «Правде» обо мне самую лестную статью.

Областное Владимирское издательство выпустило первую мою книгу. Нашла меня редактор Капа Афанасьева и предложила издаться. В России нет литературной провинции.

Капа была святая.

Стройная, бледная, резкая, она носила суровое полотняное платье. Правое угловатое плечо ее было ниже от портфеля. Она курила «Беломор» и высоко носила русую косу, уложенную вокруг головы венециановским венчиком. Засунутые наспех шпильки и заколки осыпались на рукописи, как сдвоенные длинные сосновые иглы.

Дома у нее было шаром покати.

Они с мужем, детьми и бабушками ютились в угловых комнатах деревянного дома. Вечно на диване кто-то спал из приезжих или бездомных писателей. У нее был талант чутья. Она открыла многих владимирских поэтов. Быт не приставал к ней. Она ходила по кухне между спорящими о смысле жизни, не касаясь половиц, будто кто-то невидимый нес ее, подняв за голову, обхватив за виски золотым ухватом ее тесной косы. В ней просвечивала тень тургеневских женщин и Анны Достоевской. На таких, как она, держится русская литература. Когда Некрасов писал о русской женщине, он писал о Капе.

Когда вышла «Мозаика», грянул гром. Это была пора страшная, которую потом называли волюнтаризмом. Позволили прикрыть тираж, но его уже продали. Капу вызвали в большой город. Сановный хам, собрав совещание, орал на

нее. Обвинения сейчас кажутся смехотворными — например, употребление слов «беременная», «лбы» квалифицировалось как порнография и подрыв основ. Он шил политику. Капа, тихая Капа прервала его, встала и в испуганной тишине произнесла вдохновенную речь в защиту поэзии. И, не dokonчив, выскочила из зала. Потом несколько часов у нее была истерика. Ее уволили с работы.

Капа, прости меня.

В тот момент в «Неделе» шли мои набранные стихи. Мне удалось к одному стихотворению поставить посвящение ей. Это подействовало на местные власти. Капу назначили главным инженером типографии, даже повысив оклад. Но талант издателя в ней был загублен. Последний раз я видел ее во Владимире, когда мы приезжали играть «Поэторию».

Ее золотой венчик, сплетенный, как ручка от корзинки, поблескивая, возвышался над креслами. Когда Зыкина под колокола пела «Матерь Владимирская единственная...», она поклонилась Капе...

«О» — это вздох, кислород языка.

Овалами антоновки тяжелела яблоня. Ее прогибающиеся ветви дедушка подпирал рогатинами.

Она стояла за домом, против рассвета. Каждое утро из-за спины силуэт ее омывался сиянием. Сквозили лучи в косую линейку. Силуэты яблок были обведены сияющими ободками, как прописные буквы «О» с нежным нажимом, будто утро учило чистописанию.

Из-под одного яблока змеился червячок, как незнакомая еще мне «Q».

О моя первая учительница письма! Тысячи лет назад в ином саду другая упругая первая учительница, робея, протянула сияющую овальную букву, с которой начался род человеческий.

Наливалось дерево языка. Вначале было слово, не имеющее формы. Человек свято и греховно сотворил форму для слова, создав кириллицу, рисунок, скульптуру.

Мне снится, как мне снится золотое дерево языка! Оно растет сквозь меня, всасывая мои соки, оно прорастает сквозь мою жизнь, шумит кроной надо мной.

Крона языка — моя навязчивая идея. Мне хочется на какой-нибудь площади поставить монумент языку. Это будет памятником ушедшим великим словам — «не лепо ли ны бяшет, братие», — это будет вечный огонь живого слова. Как колокола, будут раскачиваться золотые «А», сережками будут звенеть «С», фыркнет филином «Ф», будут наливаться винные гроздья «О».

Отлитое на родине Гефеста из сплетенных буквиц, ошествленное фантастической энергией Зураба Церетели, меднолистое Дерево языка покачивается над Большой Грузинской.

Буквицы везли через всю страну по одной-две в пятитонных «МАЗах». У них расходились швы на ухабах. Они были закинута навзничь, как азбука для слепых. Великое небо, подобно слепцу, ощупывало их дождями, зноем, утренними лучами и сумерками. Одна машина испарилась. Последний раз ее видели в Ростове. Не там искали! Она, наверно, нашла свои иные речевые пути, пристала к стае. Ее надо теперь искать на перепутьях «Задонщины» и «Слова о полку Игореве»!

Буквицы монтировали краном, подвешивая их на двух тросах. Зураб в неизменном синем автозаправочном комбинезоне на двух лямках походил сам на буквицу, поднятую за плечи. Он летал над площадкой. Для жизнеописания фантастической судьбы Зураба нужна кисть Бальзака!

Среди монтажников вы сразу выделяете медный, оттяну-

тый книзу пушкинский профиль и русые кудри Алексея Кузьмина, его насмешливую развалочку. Некая искра связала нас. Приходя на стройку, я чувствовал на себе его взгляд. Он обучил меня перехлестывать страховочную веревку с замком, облачил в прозодежду и пластиковую красную каску. Когда я залезал на верхнюю площадку, он неизменно, как бы шутя, подстраховывал меня.

На сорокадвухметровую высоту Речи ведет узкая лесенка с редкими перекладинами, типа пожарки на 14-этажном доме. В первый раз мы взбирались в открытом пространстве, на воле, пробирало свежестью. Впоследствии, когда панели вокруг смонтировали, путь оказался тесным душным лазом. «Осторожненько, сейчас будет отсутствие перекладины, — распевно подсказывал под вами Кузьмин. — Покачивает, чувствуете? Поэтому у нас морская прозодежда — роба и штаны матросского пошива».

Снизу кто-то подсматривал за вами. Поблескивала черным глазом скважина колодезного дна. Знакомая тяга была в ее взгляде. Между вами и ею был Кузьмин.

Покачивало. Тишинский рыночек относил в сторону, он как бы отлетал, отплывал налево, потом совсем исчез из глаз, став историей.

Как пронзительно свежо на верхотуре Речи! Как свежо, захлестнувшись веревкой за сварной уголок, греться, словно на железной печурке, на горячей от солнца букве Т, свесив ноги над утреннею Москвою!

Внизу, уменьшенная высотой, как свернувшаяся зеленая гусеница, надувалась, готовилась к взлету буквица венца. Ее покрывали сусальным золотом, прикрыв от дождя прозрачным тентом.

Как и слово, медь с годами меняет окраску. Из красно-золотой она становится малахитовой. Там, где должны быть виноградные листья, венец покрывали особым раство-

ром, ускоряющим процесс зеленения. По химическому составу раствор этот схож с мочой. В дневниках старых мастеров мы читаем, что они подмешивали мочу в акварель для придания живописи вечной гаммы.

«Смешав в одно земную низость с самым высшим — с звездами дно»...

Впоследствии от городской загазованности, от времени, истории все медные буквы монумента примут этот цвет. Так стихотворение говорит на языке будущего, притягивая за собой весь речевой состав.

Естественно было залезть на верхнюю площадку, как матросы на мачту, по-человечески цепляясь руками за перекладины ступенек. Но мне хотелось пройти путь буквы, понять, что чувствует буква, когда ее поднимают за шкирку стрелой крана. Моей голубой мечтой было подняться на кране.

Я договорился с Быченковым, вожакom монтажников, и крановщиками. Быченков обмозговал особый вид крепления.

Утром на пустынных столах Тишинского рынка расставляли продукты. Везли ящики черешни. Кто-то непроглядный прятался в бочке. «Дура ты, дыра, — весело думалось мне, — таись, колдуй, злобствуй, а я сейчас буквально стану буквой, сам взовьюсь в небесную субстанцию».

Бочка обиженно промолчала, но, как мне показалось, насмешливо. Это меня насторожило.

Увы, никто из моих приятелей не явился в назначенный час. Прыча глаза, с лицами, опухшими от раскаяния, они проскользнули через час на свое рабочее место. Оказалось, что Зуаб ночью прознал про наш сговор и все категорически запретил.

Я оглянулся на бочку. Она катилась куда-то как ни в чем

не бывало, как будто не имела к этому инциденту никакого отношения.

Кузьмин утешал меня. Предлагал подвеситься на десять метров для ощущения. Это было несерьезно.

И вот мы снова с ним по-человечьи лезем железной лесенкой. Упрели. Жаль, но особенно я не сокрушался. Так я не стал буквой.

Вес кольца был за пределами подъемного крана. Стрелу крана надставили и несколько раз репетировали, подвесив кольцо в небо, и замирали на нужном уровне.

Небо, как часовщик, этой вставленной в глаз лупой разглядывало нас. Потом кольцо укрепили конструктивной крестовиной, и оно застыло в небесах, будто буква, которую написали, а потом вдруг решили перечеркнуть накрест.

Ослепительные дни. Стремительные дожди.

Венец показывал характер. Тучи, как щеки, гневно надувались над Большой Грузинской. Зеленые губы округлились посреди неба, как открытый ужаснувшийся рот. Безмолвное досель небо обрело голос. Губы склонились к гигантскому качающемуся медному кларнету. Боги, боги, мы содрогнемся от музыки той!

Подъем венца был апофеозом стройки. Люди обнимались, плакали, вопили. Из неба летели искры. Алексей Кузьмин с товарищами доваривал устои венца.

Осуществилось. Монумент поставлен, крепкими корнями втянувшись в смысл земли. Будет что облять доброжелателям. Но почему Образ речи не отстаёт от вас? Что-то продолжает тянуть.

Я вглядываюсь в Образ. Это не совсем уже дерево. Я не вижу ствола. Какой же ствол у языка? Я понял — это должно быть Облако. Наши жизни, испаряясь, превращаются в зо-

лотое Облако языка. Золотое Облако должно парить над площадью.

Как решить это конструктивно? Надо бы проконсультироваться. Консоли или ванты не годятся. Облако не может быть подвешенным. Мощное силовое магнитное поле лучше, но магнитные колодки будут портить вид. Да и дорого. Я думаю поставить облако на воздушную подушку. Ведь есть же корабли, поезда, да и танк на воздушной подушке, она выдерживает. Облако будет стоять на четырех столбах из сжатого воздуха. Один пониже — по центру, — три наклонных воздушных столба с боков будут удерживать облако от смещения.

Материалом, думаю, должна быть опять медь. Титан холодноват. Никель слишком шикарен. А может быть, спрессованный свет? Конечно, в идеале было бы взять купольное золото, это было бы торжественно, в зеркальной поверхности отражались бы жизнь, люди, облака — язык же живой! — и по городу дрожали бы зайчики — золотое Облако языка.

Я беру подрамник. Забиваю с обратной стороны гвоздики для лески. Замешиваю крутой клей из ржаной муки. Мочу в ванной широкий рулон бумаги, натягиваю, прижав поплотнее углы, гляжу, чтобы не было складок. Оставляю горизонтально — вялой мокрой простыней.

Рано утром гляжу — как празднично натянулось! Упруго, но податливо, а не туго, как барабан. Бумага дышит.

Так Бог без единой морщинки натягивает за ночь снежное квадратное переделкинское поле и крышу над нашей халупой.

Проверив леску, натягиваю свежеструганную горизонтальную рейку. Провожу первую линию. Она звенит, как струна.

Одержимость только может оправдать обучение в Архитектурном институте.

Читатель, знаете ли вы, что такое ионики?

Конечно, вы знаете, что это архитектурная деталь яйцеобразной формы, принадлежность ионического и, конечно, коринфского стиля. Они примостились в центре ионической капители, будто некая божественная и коварная птица снесла три белых яйца между рогов ионического барана. По форме они странно напоминают оники, как в старину называли букву «о». Даль приводит пословицу: «Брюшко оником, ножки — хером».

Давайте нарисуем с вами хотя бы эти три ионика.

По форме они не круглые, а сужаются книзу. Их не вычертишь ни по линейке, ни по лекалу, ни циркулем — только от руки. Один должен идеально походить на другой. Их рисуют от руки, через кальку, зачернив обратную сторону грифелем, слегка продавливают легкий контур, а потом обводят острой частью, самым твердым карандашом «6-Н». Постоянно измеряют точки измерителем. Вы уже устали, читатель?

Но их надо нарисовать целый карниз — три тысячи микроскопических, каторжных, лукавых яичек. Доцент Хрипунов будет злорадно проверять каждый из них. В Камероновской галерее, которую я вычерчивал, их было несколько тысяч. Легче почистить двадцать ведер картошки, обстругать ножом овальные клубни, как приходилось во время дежурств в солдатской кухне.

Нет, вы не знаете, что такое ионики!

Окрестил я его «Поэтархом». Поток воздуха, огибая шар, подымает вибрирующие тросы со звучащими буквицами мировых языков.

Монумент мог бы передвигаться из города в город, из страны в страну, ритуально символизируя единство человеческой культуры.

Конструкция сферы проста — то, что называют в архитектуре «сеткой Фуллера». Внутри сферы может располагаться зал для поэтических чтений и музыки. Шар — идеальная форма для зала. Нижняя часть его служит амфитеатром, верхняя — куполом. Надеюсь, что вам, мой читатель, доведется быть среди первых слушателей и посетителей Поэтарха.

Проект приняли, чтобы построить на Парижской выставке 1989 года. Он понравился Жаку Лангу, смуглому и стройному министру культуры. Однако вдруг всю выставку отменили.

Или опять черная дыра вмешалась?

«Отсоедините, пожалуйста, девушка! Кто-то подключается. Нет, это не бюро обмена. Я просил Тбилиси. Алло. Скульптор, ты слушаешь? Да, принял за старое. Кроме того, у меня есть идея Поэтарха...»

Отключили.

Отряхнув пыль с ботинок, блудный сын архитектуры, уставший от пустопорожных дрызг непоправимой жизни, я припаду к квартирной двери с табличкой «Л.Н.Павлов».

Давние годы отворят мне. Они ни о чем не спросят. Да и я ничего не скажу.

По лицу Павлова плавает свет. Сказать, что у него глаза как синие площадки, — ничего не сказать. Его загорелое, широкой лепки лицо закинута, как пригоршня голубой родниковой воды. Он ходит, подняв голову к небу, чтобы не расплескать взгляда.

Да вы совсем не постарели, Леонид Николаевич. Плотные плечи обтянуты полотняной рубахой с черными подковками, горохом разбросанными по ткани. Снежная копна волос, закинута назад, похожа на белого сокола, свесивше-

го одно крыло перед полетом, — Леонид Николаевич, милый, кумир, творческая совесть моей архитектурной юности!

Взгляд обволакивает вас с сожалением и прощением.

Тут я понял, как я влип, на какую муку приперся сюда. Но Человек-совесть уже отобрал мой плащ.

Со стен на меня глядят живописные укоры его холстов. Павлов идеи своих сооружений сначала пишет маслом на огромных холстах. Грифель и даже уголь слишком немощны, чтобы передать идею. Нужно масло, цвет.

У окна на полотне на плотном горячем фоне стройно испаряется вертикальный серебряно-белый объем, поперечными мазками похожий на ствол березы. К нему прижался черный куб, как кубический клубок шерсти, записанный плотными непроглядными курчавыми мазками. Неизъяснимая нежность прижимает их друг к другу.

— Это моя мадонна с младенцем, — волнуется Человек-совесть.

— Береза родила Пушкина, — улыбаюсь я.

— Это идея Вычислительного центра в Иванове. Черный ларец — хранилище информации, вместилище человеческого гения. Это объем без окон и дверей. Я хочу записать его плотно, по черному, как палех или флорентийская мозаика.

Я гляжу и думаю: «Что же ты какая-то прямоугольная вся стала, для маскировки, что ли?»

Он со сладострастным садизмом протягивает слова «флорентийская мозаика», «объем», а сам смотрит на меня. Человек-совесть, и все это звучит в подтексте: «Как могли вы это бросить, прельститься, ухильнуть за химерой, я так поверил вам тогда... Но вы все же устыдились, потянуло, приползли на исповедь... Что же, казнитесь...»

Человек-совесть подводит меня к костру. На соседнем холсте, как языки пламени, качаются красные, золотые и

черные узкие треугольники. Треугольник — это бунт, разрез, антиовал.

— Это пламя я хотел поставить в Пляя-Хироне. Мону-мент из пламенных треугольных высоких пирамид. Когда зритель обходит вокруг треугольных пирамид, происходит оптический обман, их вершины смещаются, и зрителю ка-жется, что пирамиды качаются.

Черные, красные качающиеся языки пламени шуршат: «Вечным студентом носитесь по свету без точки опоры, что соблазнило вас — громкая слава? Я не так примитивен, что-бы думать, что вы прельстились монетой, но есть искус тшеславия стать гласом народным — а далее, может быть, божьим? — есть искус пострадать, стать черной дырой. Зод-чий умирает в каждой вещи, остается в вечности, и это, со-извольте согласиться, тшеславие куда более высшего поряд-ка, так сказать, стратегическое...»

Я пытаюсь защищаться, я выхваляюсь, что мои рисунки куплены нью-йоркским Музеем современного искусства, я трусливо плачусь в жилетку, что в мастерских мне давали проектировать лестничные клетки и санузлы, а в стихах я продолжаю архитектурные принципы, я слышу, как моя мысль взвивается до визга: а другие отступники архитекту-ры? а им можно? а Архипова? а Данелия? а...

Я решаюсь на запрещенный прием, я думаю: «Ну ладно, это все грезы-прогнозы, идеи, а что же вы сами в жизни со-творили, совесть-мечтатель поставщик идей, Андрей Белый? Что вы осуществили в жизни, в унылой крупнопанельной решетке нашей действительности?»

Я вижу, как на фотографии строится, обретает бетонные очертания над лесами и полями идея Автосервиса. Отвер-стия сверху напоминают фары. Раскинув бетонные крылья, он парит над частниками, матом ремонтников, магарычом, заправляя их дозой красоты.

Павлов гасит победную усмешку. Здание Автосервиса построит на пересечении Кольцевой и Минского шоссе.

Он строит его там, напротив мотеля, как бы специально для того, чтобы я, ежедневно проезжая из Переделкина и обратно, вжимал голову в плечи, воровски шмыгая мимо его бетонного укора. И вслед за мной по пятам будет лететь над шоссе не Медный всадник, а страшный бетонный укор моих юных лет!

На следующий день, 1 июня, я отправился на Минское шоссе. Я мстительно надеялся на строителей. Вдруг они перекосят всю идею — и наваждение не состоится. В противном случае надо было менять место жительства.

Светло-серая стенка Автосервиса стояла на горе, вся на фоне ясного золотистого неба. В ней зияли горизонтальным рядом четыре еще не застекленные циркульные дыры. Есть такие хранилки для монет, изготовленные из светлого металла, с круглыми дырами, куда утапливают монеты. Их любят таксисты. Автосервис походил на такую хранилку.

И что поразительно! Солнце садилось точно за Автосервисом. И золотой диск его был точно такого же диаметра, как дыры. Как это удалось рассчитать зодчему? Или солнце, любив его (что там овцы!), подгадало место для заката и выверило размер? «И в ту дыру, наверно...» Было пять одинаковых кругов — четыре черных, как затмение, и одно золотое.

Солнце помедлило над ними, поразмыслив, потом раздумало и на этот раз закатилось за горизонт.

Потомственная «белая дыра», Павлов не выносит рефлексизирующих «черных дыр». Даже темные ниши в своих домах он расписывает. Цвет съедает тень.

Он что-то чует, он подозрительно принохивается ко мне, во время разговора приближая лицо, как милиционер, якобы невзначай, наклоняется почти вплотную к водителю, чтобы узнать, не пахивает ли мерзкой черной дырой.

Искушение продолжается. Павлов вдруг хорошеет.

— Вот моя любимая вещь — вещь жизни.

Так говорят о женщине. Он достает заветное фото. Это очень откровенное фото. Идет пылкая стройка. В строительном ритме есть поспешность объятий. Человек-совесть волнуется, ревниво сопит. Мне даже неловко смотреть. Наконец леса сброшены — и два спокойных, огромных, плоских квадрата остаются млеть в воздухе.

Москвичи знают это плоское здание, как заслонка замыкающее Ломоносовский проспект. Это здание — Ухо. Посредине его, как на пластиковом стенде, повешено скульптурно-мозаичное ухо с огромной дырой. Пушкин дал жизнь отрубленной голове. Гоголь отрезал нос, а Павлов поставил памятник Уху. Оно обращено к Черемушкинскому рынку. Там царит хаос бурной речи, хруст овощей, охмуреж цветастых словес, пестрота и неорганизованность форм и страстей, разгул стихии, где Восток дынь встречается с Севером морошки, где дольки чеснока хранят от гриппа и вампиров, где молодая картошка в конце мая стоит двенадцать рублей, а телятина — десять рублей, где в углу справа лучшие розы в Москве, где бушует вакханалия расчета. Контрастируя с ней, два стройных квадрата Вычислительного центра напоминают о вечности и гармонии.

Когда Ухо улавливает особенно сочные изречения, оно мозаично краснеет, как в консерватории (если вы заметили, сидя сзади) краснеют от наслаждения уши меломанов, уловивших гениальную ноту.

— Да это никакое не ухо, это лента Мебиуса, — доказывает Павлов. — Это скульптурно-философская восьмерка, говорящая о бесконечности пространства, с почти муровской дырой посередине. Извините, это глаз в нутро матери-природы. Я придал ему размер — одна миллионная диаметра Земли. Это магический модуль моей вещи. Все детали крат-

ны этому числу. Поэтому вас и тянет к пропорциям этого квадрата — инстинктом человек чувствует соразмерность с Землею.

Но ему никто не верит, все знают, что это памятник Уху. И, завидя его, приветственно шевелятся уши горожан.

Но Павлов настаивает:

— Поглядите, какая гипнотичность пропорций фасадов...

Но подтекстом звучит: «Изменщик! Неужели вы можете въезжать в города, ходить мимо прекрасных зданий, не мучиться? Неужели вы не ревнуете к создателям? Вот они стоят, длинноногие возлюбленные вашей жизни. Вы их отдали другим. Архитектура была не пустяком для вас — вы вкладывали страсть в нее. Ее статная чувственная античная линия была линией вашей жизни. Как вы можете жить теперь, зная, что она несчастлива в чужих воровских руках, что кто-то другой лепит ее, заставляет принимать уродские наглые позы, а если она счастлива с кем-то — это же мука двойная! Вы любили ее, вы и сейчас ее любите, я-то знаю. Как вы могли, Андрюша?»

Он отроком прошел школу иконописной страсти Мстеры, потом худел во Вхутемасе, был художником у Мейерхольда, тот, ошеломленный его небесным взором, уговаривал его сыграть Чацкого, но юноша не изменил архитектуре. Работал с Маяковским и Шостаковичем. Дружил с Туполевым, который, как и Ильюшин, прекрасный рисовальщик, учился во Вхутемасе. Дочка Павлова, Капля, которая сейчас поступает тоже в Архитектурный, звала того «дедушка Ту». Отечественная культура с синеглазой сокрушенностью смотрит на вас.

Такая боль в вашем сердце, такая беда.

Однако Человек-совесть понимает, что перегнул. Он лучится радушием, он называет вас Андрюша, как зовут вас лишь домашние.

— Вы, кажется, у Мура недавно побывали — как там его овечки? — ластится он со счастливой завистью.

Его самого давно подбивало построить что-то для «братьев меньших». Его жена Лиля, тоже художник, миниатюрная, как лукавая искорка в глазах, загадочная, как персидская миниатюра, и лучшая в Москве кулинарка пиццы, будучи в Англии, посетила Мура.

— В каком году это было, Лиля? — кричит он, приложив ладони к губам.

— В семьдесят третьем, — отвечает Лиля из Веймара. И добавляет: — Синеглазый такой старикашка...

— Она у меня в Веймаре сейчас, в командировке, — поясняет Павлов.

Павлов счастлив, что собрат его понят овцами. Сейчас Москва стремительно расстраивается. Лесные просеки становятся улицами, вольные рощи и поля — площадями. Обманутые генетической памятью, в наши крупноблочные клетки то лось забредет, то пыльная смятенная лисица, то волк-шизофреник.

Ночами над белой поленовской задушевной церквушкой, ставшей складом, за Круглым домом безумствует семья соловьев. Они поют на краю бывшего Ведьминого, или Троицкого, оврага, который некогда зарастал бурьяном, черемухой, убийствами и любовью. Отчаянные головы заруливали сюда, а барышни с замиранием сердца прошмыгивали мимо.

Гонимые непонятной памятью, неистребимые магические пигалицы, зачем они прилетели из незапамятных далей своих в глубь Москвы, зачем они выводят свои самоубийственные колена над ржавыми жестянками гаражей, остывающим асфальтом, желтым пивным ларьком и мстительными прожорливыми желтоглазыми дворовыми кошками? Зачем смущают захмелевших горожан?

Открывают окна, стихают свары, просветляются алкаши, слушают.

Останавливаются машины. Шоферы глушат разгоряченные моторы. Выходят. Слушают.

Стоит черемуховый жужжащий июнь. Открытые павловские окна затянуты белой марлей, чтобы в комнату не залетели маленькие черные дыры, разносящие микробов, и другие — ноющие крохотные кровопийцы.

Вдруг, метко глянув, Павлов сбивает мухобойкой черную мохнатую точку, приблизившуюся к нашему разговору.

Тут вы чувствуете, как свет будто отключается от вас. Иной огонь загорается в Павлове. Его мозг, наверное, уже мастерит не то беседку-консерваторию для соловьев, не то волчье логово-кемпинг.

Он уже машинально берет медный пропорциональный циркуль золотого сечения.

— Видите, фаланги пальцев уменьшаются в золотом сечении, но если мы продолжим ряд на одно звено, то получим над рукой расстояние точно такое же, на котором слепцы чувствуют предметы. Это золотой энергический ореол человека.

Выпьем за золото! Павлов — не алкаш, но великий бражник. Он наливает из графина водку, настоянную на крупинках сусального золота. Я чувствую, как мои глотка и кишки покрываются горячей позолотой, как труба Армстронга.

Меня подмывает рассказать ему про проект золотого Облака, но никакие поддачи и попытки не развяжут мне язык. Это только мое. «Ни матери, ни другу, ни жене».

Но Павлов будто уже все знает. Он спокойно невзначай говорит:

— Вполне реальная идея — поставить архитектурный объем на воздушную подушку. Только надо разработать на-

правление поддува. Держит же водяная пыль фонтана стеклянные шары. Ну а материал, думаю, все-таки медь. Медь как-то державнее. Хотя спрессованный свет реальнее и дешевле.

Рука мастера держит петровскую чашу. Отнюдь не страсть, не искушение толстовского о. Сергия, а сорок второй военный год отхватил фалангу его большого пальца, поэтому он не может больше играть на фортепиано любимого Прокофьева. Он проектирует здание около консерватории в виде клавиш — пусть играют облака и деревья.

Я гляжу на загорелую руку Павлова со светлыми выгоревшими волосками — золотую десницу великого творца.

Надоели бессовестные оптимисты-брехуны, надоело бесплодное брюзжание, оправдывающее свою творческую несостоятельность лозунгом: «А разве разрешат?» Я за породу творцов, ценой жизни — а другой цены не бывает — наперекор тупости воплощающих свою идею. Совестьливо закатывать глазки и ничего не делать — бессовестно. Сделайте хоть что-нибудь.

Павлов лается с прорабами, прорывается с идеей в наше трудное время, а когда были легкие времена? Рукописи не горят — горят авторы. Даже если он не побеждает — он победил. Он сотворил. Творец — это совесть.

Смущенный, я внимаю ему. Несмотря на муку и стыд, душа моя, как тело, изломанное в турецких банях, ощущает некое обновление.

Внезапно Павлов сталкивает меня в воду.

Окунаюсь «с ручками»!

Я бухаюсь во всем, в чем был, в брюках, в тяжелых ботинках. Брюки облипают холодом тело, стесняют движение. Карманы набиты тугой водой.

Рядом, фыркая, плывет Павлов. Он плывет саженками. Он столкнул меня в идею своего водного театра. Облипающая его полотняная рубаша, намкнув, стала прозрачной, и к его плечам и телу, как татуировка, прилипли темные подковки рисунка ткани.

— Идея на двенадцать тысяч мест! — кричит он, подплывающая. — Строится сейчас в Измайлове. Театр фигурного плавания.

Вода пахнет не хлоркой, она пахнет горечью и разлукой. Вот так, в облипших брюках, мы купались с тобой прошлым летом. Сухими оставались только медные пуговицы. Ты подплываешь. «Эй, в серых брюках, ноги, ноги отработывайте!» — в мегафон орет похожий на полуголого Пикассо тренер с другого берега.

Павлов уже освоился в воде. Он плывет, как на матрасе, на своем плотном сиянии. Его волосы уже просохли, стали рассыпчатыми и пушистыми. Подсинивает он их, что ли?

Я ныряю. В зеленом свете я вижу на стенах лица под стеклом, как цветные фото на стенах, — я вижу Мурку, тебя, Пикассо, Рябинкина, Яроша, все они наблюдают за нашими жизнями. Дыхания не хватает — выныриваю.

Помню, в Лионе во время постановки «Макбета» сцена постепенно заполнялась водой. Уровень воды подымается с уровнем преступлений. Последнее действие герои играли по подбородок в крови.

В заключение воды Вечности смыкались над нами, только маленький пузырек чьего-то дыхания всплывал, как крохотное «о», размером с игольное ушко.

Мы плывем в водах истории и разлуки, Павлов! Спасибо за крещение! Сквозь дыры-иллюминаторы под потолком, выходящие на фасад, видны белые облака, ветряные верхушки деревьев и крыши. Их относит назад. Мы отплываем, Павлов!

Трибуны начинают заполняться людьми. Хлопают стулья. Я чувствую дыхание, волнение, энергетическое поле судеб. Оно имеет форму гигантской чаши. Чаша дышит.

Это живая форма, самая волшебная из архитектур, мой Павлов! Мы ей принадлежим. Мы в ней растворяемся...

Сквозь волны истории и музыки, захлестывающей нас, проступают полуголые торсы.

Павлов сидит в кресле десятого ряда. Он уже просох совсем. Только под ботинками остались мокрые лужицы. Соседи думают, что это от дождя.

Павлов пришел на оперу «Юнона и Авось». Белые волосы Павлова касаются плеч. Они похожи на парик резановских времен. Его лицо бронзовеет, как держазный бюст. Он похож на персонажей действия. Зрители думают, что он подсажен.

— Как прекрасно, что нота торговых связей России и Америки звучит в стенах бывшего Купеческого собрания! — ахает он. И рассказывает, как оформлял «Выстрел» у Мейерхольда, где глубина сцены была всего шесть метров.

Он продолжал рассказывать это домам и вечерним улицам Пушкинской, то есть Страстной, площади, когда мы вышли.

Но странное дело! Чем белее колонны, чем выпуклее был мир, чем меньше я вспоминаю о тебе, тем явственнее твое присутствие. У меня мелькнула даже догадка, что оно акти- визируется в присутствии Павлова.

Раньше, когда мы гуляли с тобой, ты вдруг сбегала и пряталась от меня. Я терялся, бегал, звал: «О-о-о», вызывая сочувственные ухмылки прохожих. Иногда ты пряталась на фоне ночного неба. У меня затекала шея выглядывать тебя. Твои излюбленные прятки были на фоне Большой Медведицы. Ее звезды тускнели, закрытые тобой, а крайняя, не закрытая тобой, лупила как ни в чем не бывало. «О!» — удив-

ленно вопил я и тыкал в небо пальцем. Ты, заждавшись, прыгивала ко мне. То-то было радости!

Вот и сейчас. Мы идем с Павловым. Низкое небо полно звезд. Вдруг я замечаю, что Большая, да и Малая, Медведица и три пушкинских фонаря под ними тусклее других. И это не добрая тусклость, а какая-то напряженная, колючая.

Павлов что-то сечет, он смешался, прервался на полуслове и круто свернул к метро. Он шел в ступающихся сумерках толпы. Набежал московский ветерок.

Павлов уходил на полных парусах своих белых волос.

Однако нам пора продолжать поездку. Усадьба Мура находится в полутора часах от Лондона. Но мы, выступив в лондонском «Раунд-Хаузе» («Круглом театре»), даем круг по всей стране с выступлениями и через озера добираемся до Мура.

О чем я думаю, откинувшись в растущую скорость автомашины и одновременно с нею стремительно нарастающую скорость сумерек? Ты улетела, без тебя все теряет смысл. Ты испарилась из жизни, как пузырьки из боржома...

Сумерки — растворенная черная дыра. Твой взгляд обволакивает меня. Он все сильнее и глуше обволакивает происходящее и предметы.

Хочу реабилитировать сумерки. Напрасно ими крестили эпохи упадка. Люблю сумерки. Это самое волшебное состояние души и суток. Сумерки диктовали лучшие ноты Чайковскому и Блоку.

Может, сейчас сумерки века? Шестидесятые годы были хребтом столетия. Они были высвечены прожекторами, отсветом иных веков, их судьбы были выпуклыми, яркими. Может, сейчас время перехода, созревания культуры, творческого наращивания?

Пронесются осы фар, удлинённых скоростью. Левостороннее движение сообщает странность мыслям. Проплывает Эдинбургский замок. В студенческие годы я был пленен его необычайной даже для шотландских замков красотой. Гигантская скала незаметно для глаза переходит в стены, контрфорсы, башни, как бы сама кристаллизуясь в них. Это единый комок скульптуры. Я много раз рисовал его, пытаюсь разгадать загадку зодчего. Будто гигантская рука смяла сверху скалу как бумажный пакет — и получились вмятые складки замка.

Несколько рисунков белым по черному я дал Пастернаку. Один из них он подарил О.Ивинской, и рисунок застеклено висел в ее комнате. Из мерцающего приемничка машины доносится старая арфовая музыка, видно, модная в этом сезоне. Она уходит к эпохе Оссиана.

Окутанный паром дыхания, я как-то брел морозной подмосковной скрипучей ночью. В кювете на боку лежала «Волга». Уже припорошенная снежком, она походила на птенца, выпавшего из гнезда, выбившегося из сил и притихшего.

Я провалился в сугроб, открыл дверцу. Во тьме проема кто-то спал — его грузное тело сползло от руля к дальней дверце. Я попробовал вытащить и поднять его — тело было неподъемным.

Неожиданно я узнал эти смуглые непробудные скулы. Они принадлежали таланту сильному, мускулисту, упрямому. Он прошел фронт и мировые бездны. Его раненого вытащил на себе Наровчатов. Мы не были приятелями. Когда он читал, покоряла недюжинная свобода интонаций, то есть судьба. Его губы были притянуты близко к носу, будто он принюхивался к кислому суетному быту после широкого ветра войны. Сейчас в нахмуренном трудном сне губы тянулись совсем по-детски.

«Волга» лежала против движения. Вероятно, сознание оставило его, когда он разворачивался, или он сбился с пути в непонятном мирном существовании, или хотел рвануть наперекор всему — кто знает?

В этот непроглядный час машин ни на дороге, ни на шоссе не ожидалось. Я дошел до гаража городка, добудился сторожа, потом мы подняли в теплой квартире из домашних снов шофера в заспанной майке. Тот для порядка поматерился, но воспринял все как естественное.

Вывернули колеса «Волги». Самосвал наярив трос, машина хмуро дернулась. Как ей не хотелось покинуть мягкое, снежное, холодное гнездо, вырваться из снов, дурмана, памяти войны, молодости — так душа и улетевшая жизнь хмуро противятся воле реаниматоров, познав уже дикую угрюмую свободу, не даются тросу реанимации, который уверенно и неотступно тянет ее сквозь ирреальную дыру обратно в земное бытие.

Потом, встречаясь, мы никогда не заговаривали с ним об этой дороге, но что-то между нами произошло. Я частенько чувствовал на себе его особый тепло-карий взгляд...

Осипшие тормоза машины вырывают меня из грез российских воспоминаний. Возвращают, так сказать, к реальности, к прозе жизни.

— Приехали!

Разминаем затекшие ноги. Перед нами белая усадьба Мура. Круг замыкается.

Осторожнее, не потревожьте мастера! Мур невозмутимо лепит свои крохотные фигурки — нас с вами. Круг кончается. Век кончается, а он все будто не понимает, зачем вы заявили к нему и что пытаетесь спросить. Входит рабочий с хомяком в руке. Он, разговаривая, перебирает хомяка рукой,

как свисающие живые золотые четки. Хомяк не всегда в восторге от этого. Об этом свидетельствует прокусанный палец. Мур хищно впивается в золотую изгибающуюся форму. И опять будто не замечает, что я, прощаясь, стою ссутулившимся вопросом.

Вместо ответа, что-то ворча под нос, он дарит свой рисунок. И сам упаковывает. Мол, дома развернете и все поймете. Закутывает в целлофан, прокладывает картонкой. Не найдя второго картона, отрывает обложку от альбома для набросков. Потом все аккуратно заклеивает скотчем.

Ответьте себе, ну почему вы тогда не удержали ее?

— Обладайте всей полнотой жизни, обновляйте форму, дерзайте, — говорил мне Павлов, — но только не теряйте себя, не преступайте бездну, не вступайте в черную дыру.

Черная дыра стоит посередине моей комнаты. Ее взгляд открыт и ожидающ.

Я вошел в черную дыру.

Дант ошибся, описывая ее как безнадежный промозглый сводчатый коридор. Его ад — память. Его заставили забыть, что он видел, стерли память и вложили вместо этого ложную информацию.

Там нет ни времени, ни пространства. Все заполнено бескрайним внутренним голосом.

Ориентиром, запоминающим место, где я вошел, осталось лишь висящее, как на вешалке, мое поношенное тело с изъеденным молью затылком и выдавшим виды немодным носом. Было жаль расставаться с ним. Оно, удаляясь, уменьшалось.

Я продвигался, минуя воздушные ямы. В них томились клочки сметенной энергии. Это были мученики памяти. Так в деспотиях Берии пытали, сажая на ведро с крысой. Бедное животное, чтобы вырваться наружу, проедало внутренности.

С краю бледный акселерат в бессчетный раз бил молотком по черепу своей матери. Страдалица, подняв залитое кровью лицо, молила: «Оставьте его, он не виноват, я сама ударилась».

Измученный юнец обернулся ко мне и, запыхавшись, спросил: «Новенький, что сейчас лабают на планете? Напомни мне «Пинк Флойда». Всю память тут отшибли».

Я напомнил. Он кивнул, как благодарят за задержку, и вернулся к своему занятию.

Смеркающийся самодержец целовал отрубленную голову своей любовницы. Изнемогающего живописца терзали птицы с женским лицом и грудью. Тут мое зрение отключилось.

Звучал только голос. Но это была еще преддыра. Она была наполнена вопросом.

Вернее, голосов было два. Они задавали вопросы. «Что важнее — вера или предмет веры? Смысл жизни или жизнь смысла? Свобода или путь к свободе? Безграничность мысли или ограниченность земных ресурсов?»

Между вопросами струилась энергия. Она создавала города. Над ней радужно расцветали и испарялись цивилизации. Между вопросами возникали войны.

Меня спросили: «Ты хочешь знать Ответ?» Мне хотелось. «Но ты видел тех, кто пытался, кто преступил. Ответ дается ценой жизни».

«Жизнь отдают за кило колбасы».

«А как вдруг, узнав, ты проклянешь себя? А как вдруг по этому Ответу твоя мечта окажется жабой? Царевна-то — склизкой лягухой? А дрянь окажется «величественней, чем Лев Толстой»? А вдруг своей извилиной ты не поймешь Ответа и будешь внимать лишь химере своего убогого разума? (Как века люди молятся неверно законспектированному Евангелию.) А? А как, вдруг уже познав, ты сразу забудешь его?»

Я шагнул в Ответ.

Ясность Ответа поразила меня. Он вмещался в одно слово. Это творящее Слово пронзило счастьем все мое существо. Я познал, что моя жизнь осуществилась, удалась, но она уже не имела значения. Она слилась с Ответом. Я растворился в Слове.

Годы, века? — не знаю.

Но как-то, счастливо и растворенно плывя в исторических пространствах, отдалившись к окраине, я почувствовал некую тягу вроде тайника, пустота которого простукивается в стене, или скрытого лаза. Я давно заметил это место. Это был тайник черной дыры, смущенная память, где она помнила то, что скрывала от себя.

Я увидел какую-то убогую комнатку с обшарпанным шкафом. Автопортрет хозяина, покосившись, прижимал отставшие обои. Света не выключали. Подслеповатая лампа склонилась, как над пядьцами, над натянутым подрамником с запыленным эскизом какого-то золотого шара.

Форточка была безнадежно открыта.

Обернувшись вокруг, невдалеке снаружи я обнаружил мое висящее, довольно прилично сохранившееся тело. Я с трудом стал натягивать его. Оно село, покоробилось, оно не узнавало меня. Ноги жали. Ничего, разносятся!

Я раздвинул пошире скрипучую фортку и впрыгнул в комнату.

«О-о-о... — обездоленно и бескрайне послышалось за моей спиной. — О-о-о...»

Ко мне бросился мир — горячий, карий, васильковый, щебечущий, русский, живой!

Автопортрет, не узнав меня, отшатнулся и вдавился в стенку. «Что ты давишь на психику?» — трясясь от страха, сказал он. Первый, кто узнал меня, был хромоногий стол. Он кинулся, визжа, по-собачьи уткнулся мне в живот. С по-

косившегося шкафа мне на плечо прыгнула ваза, когда-то подаренная тобою, и обплакала всю рубаху. Я едва успел поймать ее в объятия. В окно забарабанили, стали лизаться лохматые ромахи. Половицы, мяукая, выгибались и терлись о мои ступни.

«Родные, я привез вам Ответ! Сейчас вы все узнаете!»

Но тут я понял, что забыл Ответ.

Я забыл, я все забыл.

Я живу, все дни я пытаюсь вспомнить Ответ. Портрет не узнает меня. Какая мука — вспоминать, вспоминать и не вспомнить! Может быть, Слово случайно само сложится из букв строящегося облака? Может быть, Ответ надо не получать с небес, а строить самому, и в этом тоже есть смысл Ответа?

«Откажитесь от идеи Поэтарха. Опасно после стольких лет отвычки братья за архитектуру — облажаетесь! Архитектура в отличие от зданий не стоит на месте. Ваш объект все равно зарубят. Оппонент Омлетов категорически против. Он звонит по ночам конструкторам, членам худсовета, вашим соавторам, запугивает их, чужим голосом ухает, хрюкает, храпит в трубку». — «И мяукает?» — «Откуда вы знаете? И мяукает».

Боже, неужели и до этого ты докатилась в своей низкой мести мне? А может, и вправду идея не удалась?

Отмщенье!

Спустились, набрякли, взбесились небеса. Природе отшибло память. В июне под Москвой выпал снег. Урожай сгорели и померзли.

Вытарашенный несчастный шар носился над поселком!

«Я тебе сделаю! Я тебе устрою архитектуру! Я тебе сворую Ответ! Я связалась с подонком!»

Ты лупила по мне, как кнутом, черными молниями. Но, слепая от гнева и горя, промахивалась. Ташкент шатнуло землетрясением. Ты швыряла мечети оземь, как чашки.

«Я тебе снюхаюсь с «белыми дырами!»»

Всеобщее затмение ума! Черемуха зацвела черным. По всей округе молоко в чашках стало черным и превратилось в пустоту. Я не могу ни рисовать, ни писать на ставших черными листках бумаги, слова утопают, сливаются с темнотою.

Ты вселилась в обезумевших кошек, кур, прохожих — они несутся найти меня, заклевать, выцарапать, проработать.

Солнце, твой родич, почернев, вздымает над головой взбешенные кулаки, будто, пыхтя, пытается подтянуться на невидимом турнике. Будто опять мой взбесившийся пупс на трибуне. Он кричит что-то яростное, солнечное, августейшее на своем, как у всех толстяков, тонком обиженном дисканте.

«Погода балует! — Соседи заперлись на крюки. — Все небо продырявили».

Я один знал, что это я виноват во всем. Зачем я приручил тебя к нашим земным утехам? Я виноват в том, что сгорели урожаи. Я виноват в том, что я лишь человек, что мои поступки человечьи, я мыслю, увы, не высшим разумом, а пудрацки, лишь по-людски.

Ты обезумела, ты обезумела, ты обезумела.

«Где ты прячешься? Ах, ты запер все фортки! Небось со своей тварью. Да, я глухая, слепая, но погляди на себя, портреты шарахаются от тебя. (Портрет, перекосясь, плюнул в меня.) Что я нашла в этой роже? Глянь в зеркало — подбородок в краске, а может, это помада? (Зеркало хлобысть — вдребезги.) Ну, теперь я уже не промажу!»

Слепая, она проносилась мимо.

Вдруг, видно вспомнив, она зависла в зените точно над моим домиком. Крыша вжалась. Она застыла. Сейчас последует неотвратимый удар. Она не промажет. Но она медлила, видно, чтобы продлить наслаждение мщенья.

Потом вдруг дрогнула и окуталась каким-то туманным облаком.

Ты плачешь? Ты можешь плакать, несчастная, злобная, нескладная, мокрая, как электрический скат? Ты плачешь впервые в жизни. Бессловесная кикимора, ты можешь плакать?

Все отсырело в комнате. Черные бумаги просветлели, прояснились, но стали волглыми, на них расплылись слова. Ну вот, наорут, все перебьют, а потом утешай их!

Окно снаружи запотело. Потом по стеклу побежали чистые ручьи. Я открыл раму.

Тебя не было. Хрущевидное солнце садилось за полем, все еще машинально подымая и опуская кулак, будто спускало из бачка воду. В такт ему набегал трепет листвы в кладбищенской роще, будто накатывающиеся и стихающие аплодисменты.

Я выпрыгнул в сад. Я прижался щекой к внешней стороне стекла. Щеки стали мокрыми от твоих слез.

Годы, века? — не помню.

Оканчиваю. Я прощаюсь с тобой, моя темная повесть! Ты скоро разлетишься по свету на тысячи буквочек, как бусины распавшихся бус, но в каждом из маленьких «о» отныне будет отсвет твоего тепла.

Вечереет. Я пишу в Переделкине за садовым столом. Белые рамы дома как бы отдаляются в сумерках. Белый лист бумаги покрывается теменью моих словес, исчезает под строчками.

Уже совсем темно. Не видно ни листа, ни пера, ни руки — они сливаются с твоей тьмой. Прощай. Я столько

суток провел с тобою. Я забывал для тебя друзей и дела. Как ты меня мучила! Спасибо, что ты меня нашла.

Оловянное небо написано нейтральтином на подаренном рисунке Мура. Сумерки встревожены, небо волнуется, ищет тебя. В тучах просвет, будто открытая форточка.

Поспешный овал озера. Четыре дерева на другом берегу. В центре озера стоят три грации — Поэзия? Архитектура? Разлука? Прижавшись друг к другу, они образуют триединый беломраморный столб.

Они стоят на темном пьедестале. Судя по черному плавнику, это спина дельфина, кита-касатки либо лох-несского чудища. А может, это черные шестерни нашего жестокого века?

Видно, как кисть художника торопится, мазок поспешает, летят брызги, видно, как он, волнуясь, приготавливает в баночке нейтральтин, смешивая берлинку, умбрию и свою тоску. Кисть торопится, он разбрызгивает воду, краску, жизнь. Век торопится, век истекает. Он спешит сообщить нечто важное, происшедшее с ним.

Но что это? Или это изъясн бумаги? Нет, это явно не лякса.

В центре неба повисло темное отлетающее тоскливое пятно. Оно замедлило взгляд. Оно глядит на озеро, на белый столб, на нас с вами. Торопитесь! Оно сейчас улетит.

Рука Мура безотчетно сама запечатлела, что с ним произошло, в самый момент твоего отлета. Это твой единственный портрет.

Я вешаю этот рисунок на стену переделкинской комнатки, где ты провела столько дней. Он расположился рядом с

солнечным эскизом павловского павильона плавательного театра, где в трех белых дырах плещутся вода, солнце, смех.

Сумерничаю с Муром.

Полдничаю с Павловым.

— Отлично, слышно... 08? Это ты, Скульптор? Салют! Что?! На худсовете утвердили наш проект?! Повтори... Не может быть! Ура! А оппонент Омлетов? Не явился?.. Как — провалился? Шел по проспекту и провалился в какую-то дыру? Там же не было дыр! Ну, наверное, ремонтировали. Ну пусть не роет другому яму — сам попал...

Одновременно в трубке завопили голоса и Мура, и Павлова, и Капы, и твой. Все орали, поздравляли. Одновременно слышалось уханье и храп.

Ну почему я вдруг обернулся?

Я узнаю этот взгляд из тысячи. Из угла, набычась, радостно глядела моя черная дыра. Вернулась!

Ну почему я не успел тогда сразу же захлопнуть фортку?

Она метнулась к окну. Она задержалась на мгновение в форточке. Помедлила. Покачалась. И тоскливо обернулась.

Больше я ее никогда не видел.

Люблю Лорку

Люблю Лорку. Люблю его имя — легкое, летящее как лодка, как галерка — гудящее, чуткое как лунная фольга радиолокатора, пахнущее горько и пронзительно, как кожура апельсина...

Лорка!

Он был бродягой, актером, фантазером и живописцем. Де Фалла говорил, что дар музыканта в нем — не менее поэтического.

Я никогда не видел Лорки. Я опоздал родиться. Я встречаюсь с ним ежедневно.

Когда я вижу две начищенные до блеска луны — одну в реке, а другую на небе, мне хочется крикнуть, как лорковскому мальчугану: «Полночь, ударь в тарелки!» Когда мне говорят «Кордова», я уже знаю ее — эти две туманные Кордовы, «Кордову архитектуры и Кордову кувшинок», перемешанные в вечерней воде. Я знаю его сердце, ранимое, прозрачное, «как шелк, колышимое от луча света и легкого звучания ко-

локольчиков». И не знаю вещи, равной по психологической точности его «Неверной жене». Какая чистота, жемчужность чувства! Люблю слушать, как в его балладах

Цыгане и серафимы
Играют на аккордеонах...

Его убили 18 августа 1936 года.

Преступники пытаются объяснить это случайностью. Ах, эти «ошибки»! ...Пушкин — недоразумение? Лермонтов — случайность?!

* * *

Поэзия — всегда революция. Революцией были для ханжества неинквизиторских тюрем песни Лорки, который весь — внутренняя свобода, раскованность, темперамент. Тюльпан на фоне бетонного каземата кажется крамолой, восстанием.

Маркс писал, что поэты нуждаются в большой ласке. О какой ласке может идти речь, когда обнаженное сердце поэта обдирается о колючую проволоку? Когда я думаю о трагическом, гибельном пути поэта, я вспоминаю Элюара, отравленного газом во время Первой мировой войны. Фигура задыхающегося поэта символична. Как тут петь, когда дышать нечем!

Хрипло, гневно звучал голос Лорки:

Это не ад, это улица.
Это не смерть, это фруктовая лавка.
Я вижу необозримые миры
в сломанной лапе котенка,
раздавленного вашим блестящим авто.

Случилось, что я читал там свою «Сирень» — балладу о неприкаянной, влюбленной, оставившей родину, отправившейся путешествовать сирени.

Комнатку освещает лунный экран телевизора. Звук выключен. Он вместо лампы, этот лиловатый экран с немymi плавающими тенями.

Свет озаряет женскую фигурку на тахте. Она — полька. Она сидит, поджав ноги. Ее родители эмигрировали перед войной в Аргентину. Она тревожна и смятенна. Освещенная со спины лиловым сиянием, она кажется сама сиренью с поникшими трепетными плечами, лиловыми локонами, серыми туманными зрачками, сама кажется сиренью — потерянной, мерцающей.

Я, сам того не понимая, читаю и про нее, про ее судьбу.

Чем живет она? Что творится у нее на душе? Где соломинка, за которую она хватается в этой пустоте, в этом чужом мире?

Вместо ответа она закидывает голову. Она читает, вернее, не читает, а полупоеет какие-то стихи. Она преобразается. Голосок ее прозрачен — он утренний и радостный какой-то.

«Это — Лорка», — отвечает она на мой недоуменный взгляд.

«Ларк?» — переспрашиваю я, не разобрав. («Ларк» — жаворонок по-английски.)

«Да, да! Ларк! — хохочет она. — Это моя единственная радость. Не знаю, как бы я была без него... Ларк... Лорка...»

...Его убили 18 августа 1936 года.

* * *

Уроки Лорки — не только в его песнях и жизни. Гибель его — тоже урок. Убийство искусства продолжается.

Черный ящик моей памяти захрипел, разразился непотребной бранью, заплевался. Из него выскочил злобный целлулоидный болванчик. Замахал кулачками.

Ах, если бы все это осталось виртуальной реальностью...

Но Кремлевский голубой Свердловский купольный зал зашуршал, заполняясь парадными костюмами и скрипящими нейлоновыми сорочками, входящими тогда в обиход. Это в основном были чины с настоженными вкраплениями творческой интеллигенции. Было человек шестьсот. Шло 7 марта.

Трибуна для выступающих стояла спиной к столу президиума, почти вплоты и чуть ниже этого стола, за которым возвышались Хрущев, Брежнев, Суслов, Косыгин, Подгорный, Козлов (тогдашний фаворит, каратель Новочеркасска), Полянский, Ильичев... Их десятиметровые портреты украшали улицы по праздникам. Их несли над колоннами.

Я впервые был в Кремле. Как родители радовались —

меня в Кремль позвали! На двух предыдущих встречах с Хрущевым я не присутствовал — мы с В.Некрасовым и К.Паустовским были по приглашению во Франции, я там еще остался для выступлений. Все было впервые тогда: стотысячные заявки читателей на поэтические сборники, рождение журнала «Юность», съемки необычного вешнего хуциевского фильма, первый вечер русского поэта в парижском театре и накануне первый в истории вечер поэзии в Лужниках, — все было впервые после сталинских казарм. Мы связывали это с Хрущевым. Ростки гласности бесили аппарат. Уже по официальной прессе тех дней было понятно, кого будут прорабатывать на кремлевской встрече, — в «Известиях», которую редактировал яркий и всесильный зять Хрущева, появилась статья «Турист с тросточкой», с которой началась травля В.Некрасова, вытолкнувшая его затем в эмиграцию, и подвал Ермилова против Эренбурга.

В той же газете появилось открытое письмо главного редактора, обличающее мои стихи в «Юности». Думаю, что игрок Аджубей просто не мог поступить иначе.

К постоянной ругани в прессе мы привыкли. Я считал, что Хрущева обманывают и что ему можно все объяснить. Он оставался нашей надеждой. В первый вечер заседания Хрущев был хмур, раздраженно перебивал седого режиссера М.И.Ромма, однако обаяние Чухрая смягчило его, и он не стал разгонять Союз кинематографистов, как это уже было предreshено. В первый день нападали на Эренбурга, и все чаще, как по сценарию, стали упоминаться имена мое и Аксенова. Ванда Василевская заявила, что в Польше не могут построить социализм из-за того, что мы с Васей им мешаем.

Запомнился писатель, стоявший на трибуне вполоборота, обращавшийся больше к сидящему сзади Хрущеву, отводя спину вбок, как собака вежливо отводит зад и оглядывается, когда бежит впереди хозяина. Особенно усердствовал против

меня А.Малышко, под гогот предложивший мне самому свои треугольные груши... околачивать, согласно соленой присказке. А.Прокофьев обличал мою непартийность: «Я не могу понять Вознесенского и поэтому протестую. Такой безыдейности наша литература не терпела и терпеть не может!» Эти вопли заводили Хрущева. Тот делал вид, что дремлет.

Чем Хрущев отличался от Сталина? Не политически, а эстетически.

Сталин был сакральным шоумейкером эры печати и радио. Он не являлся публике. Хрущев же был шоуменом эпохи ТВ, визуальной эры. Один башмак в ООН чего стоит! Не ведая сам, он был учеником сюрреалистов, их хэппенингов.

Хрущев восхищает меня как стилист.

И когда глава Державы сделал вид, что вдруг проснулся и странным высоким толстяковским голосом потребовал меня на трибуну, я бодро взял микрофон. Повторяю, он был еще нашей надеждой тогда, и я шел рассказать ему как на духу о положении в литературе, надеясь, что он все поймет.

Но едва я, волнуясь, начал выступление, как меня сзади из президиума кто-то стал перебивать. Я не обернулся и продолжал говорить. За спиной раздался микрофонный рев: «Господин Вознесенский!» Я попросил не прерывать и пытался продолжать говорить. «Господин Вознесенский, — взревело, — вон из нашей страны, вон!»

Вот как описывал со стороны нашу беседу М.Ромм:

«Два выступления были ключевых... Одно — донос в очень благородной форме о том, что Вознесенский давал интервью в Польше... и в этом интервью был задан вопрос, как он относится к старшему поколению и т. д., как с поколениями в литературе. И он-де ответил, что не делит литературу по горизонтали, на поколения, а делит ее по вертикали, для него Пушкин, Лермонтов и Маяковский — современники и

относятся к молодому поколению. Но к Пушкину, Лермонтову и Маяковскому, к этим именам он присовокупил имена Пастернака и Ахмадулиной. И из-за этого разгорелся грандиозный скандал...

...Во время очередной какой-то перепалки, пока Вознесенский что-то пытался ответить, Хрущев вдруг прервал его и, обращаясь в зал, в самый задний ряд, закричал:

— А вы что скалите зубы? Вы, очкарик, вон там, в последнем ряду, в красной рубашке!..

Вознесенский читает, но не до чтения ему: позади сидит Хрущев, кулаками по столу движет...

Прочитал он поэму, Хрущев махнул рукой:

— Ничего не годится, не годится никуда. Не умеете вы и не знаете ничего!.. Вы это себе на носу зарубите: вы — ничто.

Вознесенский молчит. Что уж он там пробормотал, не знаю, не помню... Тут от этого крика хрущевского на Вознесенского всю эту толпу интеллигентов охватило какое-то странное, жестокое возбуждение. Это явление Толстой здорово описал в «Войне и мире», когда Ростопчин призывал убить купеческого сына и как толпа вся, друг друга заражая жестокостью, сначала не решалась, а потом стала убивать».

Действительно, поводом для скандала была процитированная В.Василевской моя фраза: «Гениального Пастернака я считаю современником Лермонтова».

Услышав поток брани за спиной — «Господин Вознесенский, вон из страны!» — я не понял, кто это заорал. Не Хрущев же! Повторяю, я, как и все мои друзья, тогда еще идеализировал Хрущева. Когда же зал, главным образом номенклатурный, с вкраплениями интеллигенции, заплодировал этому реву, заскандировал: «Позор! Вон из страны!» (по отношению ко мне, конечно), — я счел зал своим главным врагом и надеялся побороть его по стадионной привычке. Не тут-то

было! Я продолжал бубнить по тексту. И вдруг, оглянувшись, увидел невменяемого, вопящего Премьера. В голове пронеслось: «Да опомнитесь же! Неужели этот припадочный правит страной?! Он же ничего не сечет». Я обернулся к залу, ища понимания. В лицо орали перекошенные. Осталась последняя надежда — вдруг стихи смогут образумить это ревущее стадо. Но Кремль — не Лужники. Ишь, принц нашелся...

Вот опять «взгляд со стороны», запись по стенограмме из архива ЦК КПСС, конечно приглаженной, отредактированной от ненормативной лексики:

«Н.С.ХРУЩЕВ: Почему вы афишируете, что вы не член партии?! «Я не член партии» — вызов дает! Сотрем всех на пути, кто стоит против Коммунистической партии, сотрем!

Вы скажете, что я зажимаю. Я — Секретарь, Председатель. Прежде всего я — гражданин Советского Союза, я боец и буду бороться против всякой нечисти. Мы создали свободные условия не для пропаганды антисоветчины. Мы никогда не дадим врагам воли, никогда! Ишь ты, какой — «я не член партии!». Он нам хочет какую-то партию беспартийных создать. Нет, вы член партии, только не той партии... Товарищи, идет борьба, борьба историческая, здесь либерализму нет места, господин Вознесенский!.. То, что Ванда Львовна сказала, — это вы сказали. Это клевета на партию! Для таких будут жестокие морозы... Мы не те, которые были в клубе Петефи, а мы те, которые помогли венграм разгромить эту банду... Ваши дела говорят об антипартийщине, антисоветчине. Вы говорите ложь!..

ВОЗНЕСЕНСКИЙ: Нет, не ложь!

Х.: Молоко еще не обсохло. Ишь какой. Он поучать будет. Обожди еще! Ишь ты, какой Пастернак!

Мы предложили Пастернаку, чтобы он уехал. Хотите, завтра получите паспорт, уезжайте к чертовой бабушке, поезжайте туда, к своим.

В.: Я русский поэт. Зачем мне уезжать?

Х.: Ишь ты, какие! Думаете, что Сталин умер... Мы хотим знать, кто с нами, кто против нас. Никакой оттепели: или лето, или мороз... Партия не дает вам право на молодежь и всегда будет бороться, чтобы она, партия, представляла старое и молодое поколение. И больше никто. Только одно сейчас — ваша скромность, скромность, если вы не перестанете думать, что родились гением.

В.: Я так не думаю.

Х.: Вы думаете. Вам вскружил голову талант, ну как же, родился принц, все леса шумят. Вы считаете, как только родились, то сразу руку подняли, хотите указать путь человечеству. Не хотите с нами в ногу идти, получайте паспорт и уходите. В тюрьму мы вас сажать не будем, но если вам нравится Запад — граница открыта. Паспорт в зубы — и катитесь! Вы по своим стреляете...»

«За что?! Или он рехнулся? Может, пьян?» — пронеслось в голове. (Такое с ним случилось однажды, когда он, сняв туфлю, стучал ею в ООН.) Только привычка ко всякому во время выступлений, видно, удержала меня в рассудке. Из зала, теперь уже из-за моей спины, нарастал мощный скандеж: «Долой! Позор!» Из первого ряда подскочило брезгливо-красивое лицо: «В Кремль! Без белой рубашки, без галстука?! Битник!» Позже я узнал, что это был Шелепин, тогда Председатель КГБ. Мало кто из присутствующих знал слово «битник», но сразу подхватили: «Битник! Позор!»

В ополумевшей от крика массе зала мелькнуло обескураженное лицо О.Ефремова, взметенные бровки Ю.Завадского. Помню бледные скулы А.Тарковского и Э.Неизвестного. Они были подавлены.

Мотнувшись взглядом по президиуму, я столкнулся с пустым ледяным взглядом Козлова. И он, и все остальные члены

президиума глядели как бы сквозь меня. Как остановить этот кошмар? Все-таки я прорвался через всеобщий ор и сказал, что прочитаю стихи.

Тут я задел рукавом стакан, он покатился по трибуне. Я его поднял и держал в руках. Запомнились грани с узором крестиками кремлевского хрустального стаканчика. Запомнилось, как Козлов внимательно и настороженно взглянул на мою руку со стаканом.

«Никаких стихов! Знаем! Долой!» — упоенно вопили вокруг.

И тут в перекошенном лице Главы я увидел некую проби- вающуюся мысль, догадку, будто его задело что-то, пробуди- ло сознание, что-то стало раздражать — или это мне помере- щилось? — будто бы он увидел в ревушей торжествующей толпе свою будущую гибель, почуял стихийную силу взбе- сившейся неподконтрольной номенклатуры. Через год она свернет ему шею. Набычась, он обиженно протянул: «Нет, пусть прочитает». Когда я дошел до строк:

Какая пепельная стужа
сковала б Родину мою?
Моя замученная Муза,
что пела б в лагерном краю? —

я понял, что я погиб.

Но читая, я, как обычно, отбивал ритм поднятой рукой:

...когда по траурным трибунам
самодержавно и чугунно,
стуча, взбирались сапоги!
В них струйкой липкой и опасной
стекали красные лампасы...

Это потопило меня окончательно. В те дни, теряя контроль над процессом, Глава давал в политике задний ход, похваливал Сталина. Гробовая тишина. Лишь в углу раздалась хлопки и захлебнулись. Паники не было, была одна безнадега. «Агент, агент!..» — закричал в зал Премьер. «Ну вот, агентов зовет, сейчас меня заберут», — подумалось.

Зал злорадно затих.

А он продолжал вопить, но уже тоном ниже, видимо выпустив пар: «Вы что руку подымаете? Вы на что руку подымаете? Вы что, нам путь рукой указываете? Вы думаете, вы вождь?»

И тут, бранясь, он, видимо, назвал залу или машинально назвал вдруг меня «товарищ Вознесенский». А может быть, за несколько минут чтения он вынужден был помолчать и тут понял, что перебрал?

Взмокший вождь с досадой нацепил свою маску и процедил: «Работайте». Я понял, что пока я спасен, а зал пока не выиграл. Потом меня прорабатывали другие залы.

Знал ли обо мне Хрущев раньше? Он не был знатоком поэзии. Но впоследствии была опубликована докладная записка в Политбюро за подписью Шелепина. В ней только перечислялись фамилии окружения Пастернака. И там среди знаменитых имен упомянута моя фамилия. Я думаю, что другие имена не интересовали Хрущева. Но фамилия «Вознесенский» могла запомниться по аналогии с председателем Госплана Вознесенским, любимцем Сталина, коллегой и кудрявым соперником Хрущева и Берии.

Так или иначе, впервые в истории в лицо русскому поэту была публично брошена угроза быть выгнанным из страны. Думаю, на моей судьбе случайно поставлена точка в традиционных отношениях «Поэт и Царь». Дальше судьбы поэзии и власти пошли параллельно, не пересекаясь. И слава богу!

Как будто кого-то сейчас интересует, что думает власть о поэзии.

От получасового ора Премьер взмок, рубашка прилипла темными пятнами.

Но он и не думал передыхать.

— Ну, теперь, агент, пожалуй сюда! Ты, очкарик!! Нет, не ты, а ты, вот ты, в красной рубахе, ты — агент империализма, — короткий пухлый палец тыкал в угол зала, где сидел молодой художник Илларион Голицын, график, ученик Фаворского. Он-то, оказалось, и хлопал мне.

Худющий Илюша, меланхоличный, задумчивый, честный, весь не от мира сего, замаячил на трибуне.

ХРУЩЕВ: Почему хлопал?

ГОЛИЦЫН: Я хлопал Вознесенскому, потому что люблю его стихи, и я не агент..

— Да?! А еще что ты любишь?

— Я люблю стихи Маяковского.

— Чем докажешь?

— Могу наизусть прочесть.

— А зачем на трибуну вышел?

— Вы позвали.

— Ну, говори, если вышел.

— Я не собирался выступать, я не знаю, что говорить.

— А сам кто ты есть?

— Я — Голицын.

— Голицын? Князь? (Смех в зале.)

Пройдет немного времени, и они так же рьяно и искренне станут добывать себе графские титулы и наперегонки хоронить останки убиенной семьи монарха.

— Я — художник.

— Ах, художник!! Абстраксист!

— Нет, я реалист.

— Чем докажешь, чем докажешь?

— Я могу свои работы принести показать...

— Следующий!

— Я — советский человек. Не знаю, почему возник этот вопрос.

— А вы подумайте. Мы сами можем хлопать, а где не надо — не хлопаем.

Третьей жертвой Голубого зала был Василий Аксенов. У него было время сгруппироваться. Вождь хрипел: «Вы что, за отца нам мстите?» Танк пер на соловья асфальта, писателя, определившего время, еще безусого, с наивными пухлыми губами. Но не сломавшегося...

Тут вождь утомился. Объявил перерыв.

Эренбург впоследствии спросил меня: «Как вы это вынесли? Улюбого в вашей ситуации мог бы быть шок, инфаркт. Нервы непредсказуемы. Можно было бы запросить пощады, упасть на колени, и это было бы простительно».

Помню, как в тумане, прослушал его доклад, где он уже хвалил Сталина и приводил нам в пример какие-то беспомощные вирши, помню, как прошел я через оживленную, вкусно покушавшую толпу. Около меня сразу образовывалось пустое место, недавние приятели отводили глаза, испарялись.

Помню, как вышел на темную мартовскую площадь Кремля. Бил промозглый ветер. Играли скользкие блики фонарей на мокрых булыжниках, уложенных плотно, один к одному, подобно скользким ухмылкам на лицах зала. Куда идти?

Кто-то положил мне лапищу на плечо. Оглянувшись, я узнал Солоухина. Мы не были с ним близки, да и потом редко встречались, но он подошел: «Пойдем ко мне. Чайку попьем. Зальем беду». Он почти силой увлек меня, не оставляя одного, всю ночь занимал своим собранием икон, пытаюсь

заговорить нервы. Дома у него были только маслины. Наливая стопки, приговаривал: «Ведь это вся мощь страны стояла за ним — все ракеты, космос, армия. Все это на тебя обрушилось. А ты, былиночка, выстоял. Ну, ничего...»

Я год скитался по стране. Где только не скрывался. До меня доносились гулы собраний, на которых меня прорабатывали, требования покаяться, разносные статьи. Один из поэтов, клеймивший с трибуны собрания в Союзе писателей, требовал для меня и моего подельника... высшей меры, как для изменников Родины.

На латвийском вокзале я натолкнулся на плакат, выпущенный «Агитплакатом», где разгневанные мухинские Рабочий и Колхозница выметали железной метлой из нашей страны всякую нечисть и книжку с названием «Треугольная груша». Под плакатом стояла подпись: «Художник Фомичев, текст Жарова». В.Войнович рассказывал, что такой плакат, увеличенный до гигантских размеров, стоит при въезде в Ялту. Но простые люди и на Владимирщине, и в Прибалтике, да и в Москве, не одобряя власть, конечно, очень по-доброму тогда ко мне относились.

По стране искали и клеймили «своих Вознесенских». Худо пришлось тогда И.Драчу и О.Сулейменову.

Сознание оступело. Пришла депрессия. Впрочем, я был молод тогда — оклемался. Остались стихи. Тогда написались «Сквозь строй», «М.Монро». Боясь прослушки, я не звонил домой, наивно полагая, что власти не знают, где я. Приставкин вспоминает, как я загнанно сторонился всех, опасался читать стихи. По Москве пошел слух, что я покончил с собой. Матери моей, полгода не знавшей, где я и что со мной, позвонил Генри Шапиро, журналист «ЮП»: «Правда, что ваш сын покончил с собой?» Мама с трубкой в руках сползла на пол без чувств.

Через год, будучи на пенсии, Н.С.Хрущев передал мне, что сожалеет о случившемся и о травле, что потом последовала, что его дезинформировали. Я ответил, что не держу на него зла. Ведь главное, что после 56-го года были освобождены люди.

Странно, что, несмотря на пережитое, я не испытывал обиды на него. Не испытываю и сейчас. Я долго не мог уразуметь, как в одном человеке сочетались и добрые надежды 60-х годов, мощный замах преобразований, и тормоза старого мышления, и купецкое самодурство. Да, правда, я отказался подписать поздравление к его 70-летию, когда он, Глава Державы, был в могучей силе, и редакции «Юности» пришлось разбросать подписи в виде автографов не в алфавитном порядке, чтобы не было видно, что не все подписали. Но это относилось к моему пониманию достоинства. Я никогда не забывал того, что Хрущев сделал для страны — освободил людей.

Да, мемуаристы правы: пройдя школу лицедейства, владения собой, когда, затаив ненависть к тирану, он вынужден был плясать перед ним «гопачок» при гостях, он, видимо, как бы мстя за свои былые унижения, сам, придя на престол, завел манеру публично унижать людей, растаптывать их достоинство — топал на тоненькую Алигер, на старушку Шагинян, кричал художникам в Манеже «господа педерасы!». Он не доверял интеллигенции, страшился гласности. Но он ли виноват? Виновата Система, воспитавшая его. Ныне опубликовано, как он, придя к власти, первым делом уничтожил документы о своем соучастии в кровавых расправах. Кровь тяготила его, и тем мужественнее подвиг его доклада на XX съезде.

Не он виноват, черное затмение виновато. Позже мы узнали, что он приказал провести испытания атомной бомбы

на Урале, на своих крестьянах. Бомба была взорвана над деревнями, и сорокатысячная армия шла через облучение...

Льстецам он лично подписывал Ленинские премии по литературе за описания своих поездок. Его помощник Лебедев, никак не будучи писателем, не постеснялся устроить себе Ленинскую премию по литературе, такую же, которую имели А.Твардовский и М.Шолохов, и не имел, скажем, К.Паустовский.

Фото Хрущева с кулаком надо мной висело в витрине «Известий» на Пушкинской площади. Фото сразу украли, разбив витрину.

Потом только я понял, что напоминает жест Премьера. Именно так спускали воду, дергая за туалетную ручку, из бачка старой конструкции. Очень трудно было отыскать такую ручку для моего видеома.

Одна высокопоставленная американка рассказала мне, что во время хрущевской поездки в США их спецслужбы похитили у Никиты Сергеевича его дерьмо. На анализ. Для этого специальный уловитель был вмонтирован в трубу унитаза. По анализу хотели спрогнозировать характер Премьера: количество желчи, вспыльчивость, способность к гневу и т. д. Это, вероятно, помогло во время Карибского кризиса. Правда, они не учли, что коварные русские спецслужбы могли подставить двойника и подсунуть дезу вместо подлинника.

Историкам еще предстоит написать портрет Хрущева, его великих дел, я лишь рассказал об одном эпизоде, рассказал, что видел и пережил сам.

Что я «пробормотал» в ответ на самодержавное «вы — ничто»? Я тупо повторял: «Я — поэт».

В.Каверин, сидевший близко, расслышал другие мои слова. Он вспоминает в статье «Солженицын»: «Смертельно бледный Вознесенский говорил: «Я — ученик Пастернака».

Я прочитал воспоминания Ромма уже в журнале и пора-

жен точностью его памяти, даже некоторые эпитеты сходны с моими записями, например «холодный Козлов», хотя я не был даже знаком с Роммом, о чем очень жалею.

Повлияла ли встреча с царем на мою психику? Наверное. Душа была отбита стрессом. Из стихов пропали беспечность и легкость. Назло им, вопящим: «В Кремль? Без галстука?! Битник!..» — я перестал с тех пор носить галстуки вообще, перешел на шейные платки, завязанные в форме кукиша. Это была наивная форма протеста.

Тяжелей всего было видеть не торжествующие рожи врагов в зале, а ускользающие улыбки приятелей в фойе во время перерыва, прячущих глаза, будто не узнающих тебя.

В центре фойе, в кругу литклассиков, среди серых пиджаков врезалось в память весеннее салатно-зеленое платье Зои Богуславской, молодого критика и начинающего прозаика. Рядом что-то вещал Лебедев. Заметив меня, она развернулась и демонстративно на весь зал поздоровалась. Подошла. Заговорила. Номенклатура обиженно выделяла адреналин. В этом поступке, рискованном для ее судьбы, озонно проступила чистота и красота ее характера. Странно, вроде гонимым был я, но именно ее хотелось спасти, вытащить из круга вурдалаков.

Орет судилища орда.
Я прокаженным был, казалось.
И только женщина одна
подошла, не отказалась.

Живу меж темени и луж,
и черепов, как Верецагин.
И женщина, как желтый луч,
мою дорогу освещает.

Необъяснимая вещь психология — даже теперь, зная, что вся истерика Хрущева была отрететирована, чтобы напугать интеллигенцию, испробовать угрозу высылки из страны, в душе моей остался светлый, даже святочный образ Никиты Сергеевича, он остался для меня царем-освободителем. Я не держу на него зла за себя.

Как в анекдоте о вожде: «А мог бы и бритвой полоснуть!..»

Так душа моя приобретала экзистенциальный опыт, обший со страной и в чем-то индивидуальный, что, согласно Бердяеву, и способствует созданию личности.

Многое позабылось, но подушечки пальцев помнят ледяной кремлевский стаканчик, покотившийся по трибуне, помнят четкие хрустальные крестики граней на нем. Глядишь, не останови я этот стаканчик, упади он, разбейся на весь зал — очнулся бы Премьер от припадка, обстановка бы разрядилась, прибежали бы прислужники осколки заметать, кампания сорвалась бы, не было бы ни проработочных собраний, ни всесоюзного ора, процесс развития культуры пошел бы по-иному..

Но стаканчик уцелел. Случай?

«Чем случайней — тем вернее».

Властитель чувств

Арбат — наш Вишневый сад. Он был его поэтом.

Он казался нам человеком вне возраста, в видавшем виды пиджачке своем, поэт с гитарой, он казался вечным.

Боже мой, Булат...

И вот мы сидим в Шереметьево и ожидаем гроб с телом Булата. Душа его прилетела раньше тела. Это ощущали все — Белла и Боря, Вася Аксенов, Юлик Эдлис — кто-то даже сказал, что физически ощущает его присутствие.

Он был старше нас. Его деликатная властность притягивала. Из памяти почему-то выплыл случай, о котором он любил со смехом рассказывать.

Впервые меня пригласили на Всесоюзное совещание поэтов в Ленинграде. Возглавляли его вельможные Леонид Соболев и наш ругатель Прокофьев. Совещание пило страшно. В мой номер набивались поклонники и молодые поэты. Они облевали весь номер. Меня, как рассадника, решили вы-

гнать с совещания. Соболев был страшен и велик в гневе. Булат пошел, поручился за меня и уговорил их пощадить молодое дарование. В полночь вбежал ко мне поэт А. Он читал стихи, остался ночевать. А утром...

— Разбудил меня Андрюша и чуть не плача прошептал: «Опять весь номер облевали», — рассказывал потом Булат со смехом. Он, опытный в гостиничной жизни, посоветовал заплатить горничной, и все осталось тайной.

В этот печальный вечер после Шереметьево, проводив в последний раз Булата, мы, как раньше, засиделись допоздна в итальянском ресторанчике на Тверской. Как будто никогда не расставались. И будто Булат был с нами.

Белла рассказала, как Андрей Битов грустно усмехнулся, повторив мои строчки: «Нас мало, нас может быть четверо». — «Вас сейчас может быть двое...»

Вспомнила Белла, как раним он был от наскоков прессы. Внешне безразличный, но, видно, сердце было все в шрамах от уколов. Его травили за «комсомольскую богиню», за «комиссаров в пыльных шлемах». Одному, бывшему советскому цензору, ставшему ныне суперлибералом, он даже ответил. Поразительно, что поношения шли только из окололитературной среды, комплексовали те, кто был творчески несостоятелен. И наоборот, кумиры песенной стихии, осуществленные таланты, вынесшие невзгоды и прессинг, боготворили его — это и Гребенщиков, и Макаревич, и Городницкий, — им нечего было делить с Булатом.

Прими, Господь, поэта улиц.
Со святыми упокой.
За соколиную сутулость,
нахохленную над струной...

Я хотел написать «над страной», но само написалось «над струной». Это то же самое.

Он жил, как жить должны артисты.
По-христиански опочил.
Стихами в бытность атеистом
Тебе он, Господи, служил.

Почти полвека наша сухомытная страна прислушивалась, ожидая каждой новой ноты Булата Окуджавы. Пресловутой модой это не объяснишь, это иное. В лучшей своей песне, своей «Молитве Франсуа Вийона», названной так из-за цензуры и которая может встать рядом с любимыми мировыми шедеврами, голос поэта срывается на рефрене: «И не забудь про меня» — в этом весь Булат с его тайной, скромностью и достоинством.

Измученный прошлыми обвинениями в эстрадности, поэт никогда не приходил на концерты или вечеринки с гитарой. Он требовал уважения к стихам. Гитару всегда находили «в кустах». Хозяева подносили инструмент — и поэт пел.

В жизни он был незаметен, не носил крикливых одежд, как певчая птица, которая не имеет яркого окраса. Он весь принадлежал своей ноте, тому «чуть-чуть», загадочная простота его песен являла загадочную простоту его природы. И в этом он был подлинным российским интеллигентом, камертоном чести, нравственности в наше безнравственное время, но главное, я повторяю, это было то «чуть-чуть», та нота поэзии, которая, как известно, выше нравственности.

Он не был так называемым «властителем дум». Этих властителей хватает без него. «Он управлял течением мыслей, и только потому — страной». Властители мыслей стремятся во властные структуры.

Помнится, как-то я ехал в Ленинград от журнала «Знамя», в купе со мной был А.Ю.Кривицкий — яркий, блестящий, лицом походивший на рака, острослов, автор великой легенды о 28 героях-панфиловцах. Однажды автомобиль сановного Сафронова отъезжал от дома творчества. Стоя на крыльце, заикаясь, Кривицкий крикнул: «Т-толя, т-ты что, едешь государством управлять?» — «Это в каком смысле?» — с трудом повернув шею, спросил Сафронов. «В каком Ленин сказал — каждая кухарка может управлять государством».

Так вот Кривицкий предложил: «Пойдем в гости к соседу, у него французский коньяк».

Мощный сосед в шелковой тенниске набряк за своим столиком. Это был влиятельнейший деятель под маской военного журналиста. Попотчевав гостей, он с ленцой в растяжку так спросил: «Ну вот вы, так сказать, властитель дум сегодняшней молодежи, куда зовете, что мыслите о нашей действительности?»

И тут на секунду его зрачок зорко протрезвел и опять затуманился. Кривицкий забеспокоился: «Ну, Саша, зачем ты так, да оставь его».

«Я и не собираюсь быть властителем дум. Поэт — властитель чувств», — ответил я. Собеседник поскукчнел. И весело разлил остатки бутылки.

Булат же был истинным властителем чувств в нашей жизни. Среди бесчувственного бетона.

Деликатный к чужому таланту, всегда подставлял плечо и одновременно мог быть жестким, осадить невежду: «Берегите нас, поэтов», — требовал.

Несмотря на все его уверения и себя, и других в атеистическом мировоззрении (например, в посмертном «известинском» интервью), он как поэт всегда исповедовал христиан-

ские заповеди. Погребение его под именем Иоанна только подчеркнуло это.

Русские музы становятся плакальщицами сейчас. Предчувствие его кончины несколько раз кололо сердце. Когда я писал рэгтайм по Курехину — «Ку-ку-ку...», сама написалась и оборвалась строка: «об Окуджаве небеса диску...» Когда я печатал стихи в «МК», журналистка, близкая к его семье, посоветовала опустить эту строчку — ведь Булат был на больничном обследовании тогда. Но на поминках по Курехину Сергей Юрский уже прочитал эту попавшую в списки строчку...

Разошлись мы поздно. Когда я приехал в Переделкино, меня ожидала очередная беда. Пока я разбирался, рассвело. Шел дождь. Я дошел до его калитки. Вся калитка и изгородь были в цветах и березовых ветках. Фотографии Булата и объявления о дате похорон намокли. Рядом жались несколько намокших фигур. Светало. На обратном пути я написал стихи:

Плачь по Булату, приблудшая девочка,
венки полевой нацепив на ограду.
Небо нависло над Переделкином,
словно беззвучный плач по Булату.
Плач по Булату — над ресторанами,
и над баландой,
и над иконою Иоанна,
плач по Булату.

Плачет душа, как птенец без подкормки,
нет с нею сладу.
В ландышах, с запахом амбулаторным —
плач по Булату.

Конечно, память народа хранит в сердце стихи. Но нужно создать музей Булата Окуджавы. В Москве или в Переделкине — решать это музе поэта — Ольге, его сыну — семье.

Еще недавно он попрекал меня за то, что в телепередаче о Ростроповиче я назвал того «буквально гением» и «великим». «Нельзя так говорить при жизни», — сетовал он. «Но я же не про начальника при жизни, а про артиста», — глупо оправдывался я.

Увы, теперь мы спокойно говорим про Булата — великий. Но какой ценой...

Небрежность в отношениях бывает непоправимой. Перед последним его отъездом в Германию я прочитал посвященные ему стихи, где строка имеет форму следа от иглы, соскользнувшей с граммофонной пластинки. Он попросил меня отдать их. Но я тогда не дорисовал эту самую иглу. И мы решили, что после возвращения он подарит мне свою книгу, где есть история провокатора Флегона, его пакостей против Булата и меня. А я как следует дорисую и отдам ему стихи.

Последний раз мы говорили с ним в апреле на юбилейной сцене МХАТа. Он отказался тогда петь, ссылаясь на нездоровье. Мольбы зала не помогли. Многие сочли это за каприз. Ну что ему два аккорда взять! Никто и не подозревал, как тяжело ему уже было. Но поэт из гордости не показывал вида.

«Ну где же твои стихи, мне обещанные?» — спросил он меня на сцене, уже слегка задыхаясь. «Куда торопиться, успеется. Ты возвращайся скорей...» Теперь казнию себя за легкомыслие. Уже больше не подаришь.

Через месяц что-то кольнуло меня, подумалось о Булате, я не знал, что он уже в Париже, но по какому-то предчув-

ствию я вставил это стихотворение среди глав поэмы «Ave, gave!» на страницах того же «МК». Хотя к ритму рейва мелодика Булата не имела отношения. 10 июня 1997 года этот номер продавали в переходах.

Булат был уже в реанимации тогда. Строка оборвалась. Точка иглы приняла иной смысл. И вот пришлось печатать стихи эти в траурной рамке. И с памятным посвящением.

Прости, Булат...

На русских старинных иконах и в летописях гласные не употреблялись. «Бог» обозначался «БГ».

Когда в очередной раз я разбился на машине и в четвертый раз получил сотрясение мозга, хотя вроде бы там нечего было уже сотрясать, в Санкт-Петербургском соборе Борис Гребенщиков поставил свечку за меня. Когда он мне это рассказал, я шутя пожурил его — ну зачем же, может быть, лучше, чтобы все шло естественным ходом. Но, так или иначе, видно, это меня спасло.

Он приехал в Переделкино, как всегда, неожиданно, после внезапного звонка — по-хорошему худой, этакий вольный рок-стрелок, с гитарой вместо лука или арбалета. Привычная к странствиям куртка, холщовый ирландский подсумок, удлиненное бледное лицо с улыбочкой фавна и полусапоги, которые он порывался снять, чтобы не наследить, — все означало в нем городского Робин Гуда.

Зная его знаменитую привычку приходить в гости абсолютно голым, я предложил ему раздеться. Но Б.Г. застенчиво снял только куртку. Вероятно, было холодно.

Освоюсь в тепле, ночной гость рассказал, как утонул Саша Куссуль, скрипач из их «Аквариума», — переплыл Волгу, а на обратном пути сил не хватило.

Перед тем как запеть, гость разложил на столе рядом со столовыми приборами музыкальные футлярчики и надел на шею металлический хомут-подставку для губной гармошки. Начал с «Деревни».

Ах, эта постпинкфлойдовская деревня, тонко оркестрованная кваканьем лягушек, ночными вздохами и потусторонней скрипкой Куссуля, где протяжные северные российские распевы переплетаются с кельтскими, это отнюдь не полуграмотная деревня стиля «а-ля русс», а новая загадка, в которой есть судьба, свобода, душа и свой язык — о чем ты, вечно вечная и новая природа?

Ночные переделкинские перелески и сирени с незавышенным фоном прильнули к стеклам послушать про себя.

Если же станет темно, чтобы читать тебе, —
Я открываю дверь, и там стоит ночь.

Голос Бориса Гребенщикова высокий, странный, с неральным отсветом, будто белая ночь. Культура Северной Пальмиры стоит за ним.

Мы охвачены тою же самую
Оробелою верностью тайне,
Как раскинувшийся панорамой
Петербург за Невую бескрайней.

Когда он, закрыв веки, оборачивается к окну в профиль, его белокурые волосы, схваченные сзади тесемкой, чтобы не мешали, походят на косу времен Павла I.

В свое время, поехав на Соловки, окруженный двумя десятками своих группы, он, с согласия местного священника Георгия, окрестил их вместе со своей командой — дрожащих и бледных от свежего воздуха и перебора духовности.

Ныне кумир перешел в стан дзен-буддизма. Его сознание эклектично, не без влияния «Нью-эйдж». Но это отдельная тема.

Самопознание — сущность любого поэта, метод познания мира через себя и наоборот.

Пускай он кокетничает своим космополитизмом, будто не читал Толстого и не дочитал Достоевского, будто «рок» возможен только западный, — но как художник, он остается прежде всего русским, словесно не переводимым.

В отличие от «хард-рока» и «металлистов» автор бережен к слову, он следует не только школе ироников Заболоцкого и Хармса, но и волевому глаголу Гумилева.

Сквозь пластмассу и жуть
Иван Бодхидхарма склонен видеть деревья
Там, где мы склонны видеть столбы.

Наутро после его отъезда я вышел в сад. Смотрю, на всех пенечках сидят странные лесные люди с мешочками. «Вы что?» — «Мы ждем Б.Г.». — «Так он уехал же». — «Ничего, мы подождем». Сидели, вероятно, несколько суток. Когда через неделю я приехал, их не было.

Соседей по дому беспокоили мои шумные полуночные гости. Тогда я решил построить во дворе светелку для молодых поэтов, песнопевцев, паломников поэзии. Вся моя очердная книжка ушла на строительство этой двухэтажной све-

телки. Но едва я кончил строительство, как явились представители Литфонда. «Вы не имеете права строить на земле, принадлежащей Литфонду. Снесите свое сооружение. Или еще лучше — напишите дарственную и подарите нам». Что было делать? Мой дом — абсолютно не мой, он принадлежит Литфонду, я только арендную его.

И тут высокие договаривающиеся стороны озарила великая идея. Я пишу дарственную на светелку, а Литфонд дает мне в аренду другой дом — без соседей и рядом с бывшей дачей Пастернака. Сердце заколотилось. Так я стал соседом Пастернака.

Гребенщиков окончил факультет математики ЛГУ, работал программистом, подтверждая практикой тезу петербургского поэта, что надо верить больше математике, чем мистике. Его отличает тонкий профессионализм, артистизм, истинное знание классики. Еще студентом, оцепенев от битлов, основал он ансамбль «Аквариум», пожалуй, самую некоммерческую из наших групп. Он популярен. Люди, не знающие его аудитории, представляют ее сборищем нравственных уродов и истеричек. Между тем это серьезные знатоки.

Другие знатоки, из ленинградской милиции, били смертным боем за прическу, за кольцо в ухе и т. д. До сих пор он жалуется на отбитые почки.

Когда к нам заезжал Боб Дилан, мне не удалось их свести. Зато с Алленом Гинсбергом они заинтересованно играли друг другу в наших переделкинских деревянных стенах. Недавно он привез из Штатов новый альбом «Лилит», который записал с группой, аккомпанировавшей Бобу Дилану.

Ныне его аудитория сменилась. Это уже не титулованные ортодоксальные хипы, которые вешали ему на шею свои талисманы, аудитория поюнела, одета ярко, элегантно, заваливает сцену роскошными букетами. Это дети новых яппи.

Черные очки и поза Будды охраняет певца от прямых контактов.

«Всухую», под гитару и губную гармошку, поет он свой «Глаз», который, конечно, теряет без оркестровки труб, но выигрывает в искренности:

На нашем месте должна быть звезда.
Ты чувствуешь сквозняк,
Оттого что это место свободно.

Сейчас сквозняк на месте его бывшего друга Сергея Курехина. Когда-то я не внял его предложению участвовать в его фильме.

Он жил с открытым сердцем. И умер от этого.

Освоенная массами современная музыкальная аппаратура ничуть не сложнее для детей компьютерного века, чем была для своего времени гармошка, изобретенная в прошлом веке обрусевшим немцем.

В случае Гребенщикова мы имеем дело не с поп-цивилизацией, а с пластом рок-культуры, сложной и тонкой по вкусу. Настоящий мастер всегда образован. Скажем, кажущаяся площадность Высоцкого обманна — он читал и читал Бальмонта, Цветаеву и современных мастеров. Новая музыкальная культура, пробиваясь с боем, противостоит как тугоухим консерваторам, так и разливанному морю механической попсы.

Ко времени нашей встречи Гребенщиков написал более 200 песен. Из них составлено 20 тематических альбомов. Тогда друзья его позвонили в тревоге — худсовет «зарубил его первую пластинку», назначен новый худсовет, чтобы дорубить окончательно. Я приехал туда — оказалось, это не совсем сборище монстров. Просто им надо было объяснить стихи. Так был принят диск — первый диск Гребенщикова.

Сейчас мы слушаем его «Лилит». Он классик. Он одет в черный френч с кожаными застёжками, строгой формы, специально купленный на Кингз-роад для церемонии награждения. По сэйлу.

Нина Ананиашвили задумала с ним новый балет. И Юрий Башмет, и Арво Пярт будут работать с ним над новыми ксимпозициями. Так классика рок-культуры вливается в классическую классику. Дай-то бог!

Пролетом из Израиля в Лондон он позвонил мне.

Я сказал, что мне жаль, что не услышу его премьеры «Лилит» в Пушкинском зале, бывшем Концертном зале «Россия». Я возвращался в Москву только в конце декабря.

— Ничего, — сказал он. — Я приеду в Переделкино и сам спою всю «Лилит».

Теперь передо мной задача подмести снег со всех пеньков вокруг дачи.

Портрет Плисецкой

В ее имени слышится плеск аплодисментов. Она рифмуется с плакучими лиственницами, с персидской сиренью, Елисейскими полями, с Пришествием. Есть полюса географические, температурные, магнитные. Плисецкая — полюс магии.

Она ввинчивает зал в неистовую воронку своих тридцати двух фуэте, своего темперамента, ворожит, закручивает: не отпускает.

Есть балерины тишины, балерины-снежины — они тают. Эта же какая-то адская искра. Она гибнет — полпланеты спалит! Даже тишина ее — бешеная, орущая тишина ожидания, активно напряженная тишина между молнией и громовым ударом.

Плисецкая — Цветаева балета.

Ее ритм крут, взрывен.

Жила-была девочка — Майя ли, Марина ли — не в этом суть. Диковатость ее с детства была пуглива и уже пугала.

Проглядывалась сила предопределенности ее. Ее кормят манной кашей, молочной лапшой, до боли затягивают в косички, втискивают первые буквы в косые клетки; серебряная монетка, которой она играет, блеснув ребрышком, закатывается под пыльное брюхо буфета.

А ее уже мучит дар ее — неясный самой себе, но нештучный.

Что же мне делать, певцу и первенцу,
В мире, где наичернейший — сер!
Где вдохновенье хранят, как в термосе!
С этой безмерностью в мире мер?!

Каждый жест Плисецкой — это иступленный вопль, это танец-вопрос, гневный упрек: «Как же?!» Что делать с этой «невесомостью в мире гирь»?

Самой невесомой она родилась. В мире тяжелых, тупых предметов. Самая летящая — в мире неповоротливости.

Мне кажется, декорация «Раймонды», этот душный, паточный реквизит, тяжеловесность постановки кого хочешь разъярит.

Так одиноко отчаян ее танец.

Изумление гения среди ординарности — это ключ к каждой ее партии.

Крутая кровь закручивает ее. Это не обычная золотая фея —

Другие — с очами и с личиком светлым,
А я-то ногами беседую с ветром.
Не с тем — италийским
Зефиром младым, —
С хорошим, с широким,
Российским, сквозным!

Впервые в балерине прорвалось нечто — не салонно-жеманное, а бабье, нутряной вопль.

В «Кармен» она впервые ступила на полную ступню. Не на цыпочках пуантов, а сильно, плотски, человечьи.

Полон стакан. Пуст стакан.
Гомон гитарный, луна и грязь.
Вправо и влево качнулся стан...
Князем — цыган. Цыганом — князь!

Ей не хватает огня в этом половинчатом мире.

Жить приучил в самом огне,
Сам бросил — в степь заледенелую!
Вот что ты, милый, сделал — мне.
Мой милый, что тебе — я сделала?

Так любит она.

В ней нет полумер, шепотка, компромиссов.

Лукав ее ответ зарубежной корреспондентке. «Что вы ненавидите больше всего?» — «Лапшу!» И здесь не только зареванная обида детства.

Как у художника, у нее все нешуточное. Ну да, конечно, самое отвратное — это лапша, это символ стандартности, разваренной бесхребетности, пошлости, склоненности, антидуховности. Не о «лапше» ли говорит она в своих записках: «Люди должны отстаивать свои убеждения... только силой своего духовного «я». Не уважает лапшу Майя Плисецкая! Она мастер.

Я знаю, что Венера — дело рук,
Ремесленник — я знаю ремесло!

Балет рифмуется с полетом. Есть сверхзвуковые полеты. Взбешенная энергия мастера — преодоление рамок тела, когда мускульное движение переходит в духовное. Кто-то договорился до излишнего «технизма» Плисецкой, до ухода ее «в форму». Формалисты — те, кто не владеет формой. Поэтому форма так заботит их, вызывает зависть в другом. Вечные зубрилы, они пыхтят над единственной рифмишкой своей, потеют в своих двенадцати фуэте. Плисецкая, как и поэт, щедра, перенасыщена мастерством. Она не раб формы. «Я не принадлежу к тем людям, которые видят за густыми лаврами успеха девяносто пять процентов труда и пять процентов таланта».

Это полемично.

Я знал одного стихотворца, который брался за пять человеко-лет обучить любого стать поэтом.

А за десять человеко-лет — Пушкин? Себя он не обучил.

Мы забыли слова «дар», «гениальность», «озарение». Без них искусство — нуль. Как показали опыты Колмогорова, не программируется искусство, не выводятся два свойства поэзии. Таланты не выращиваются квадратно-гнездовым способом. Они рождаются. Они национальные богатства — как залежи радия, сентябрь в Сигулде или целебный источник.

Такое чудо, национальное богатство — линия Плисецкой.

Искусство — всегда преодоление барьеров. Человек хочет выразить себя иначе, чем предопределено природой.

Почему люди рвутся в стратосферу? Что, дел на Земле мало?

Преодолевается барьер тяготения. Это естественное преодоление естества.

Духовный путь человека — выработка, рождение нового органа чувств, повторяю, чувства чуда. Это называется ис-

куством. Начало его в преодолении извечного способа выражения.

Все ходят вертикально, но нет, человек стремится к горизонтальному полету. Зал стонет, когда летит тридцатиградусный торс... Стравинский режет глаз цветастостью. Скрябин пробовал цвета на слух. Рихтер, как слепец, зажмурясь и втягивая ноздрями, нащупывает цвет клавишами. Ухо становится органом зрения. Живопись ищет трехмерность и движение на статичном холсте.

Танец — не только преодоление тяжести.

Балет — преодоление звука.

Язык — орган звука? Голос? Да нет же; это поют руки и плечи, щебечут пальцы, сообщая нечто высочайше важное, для чего звук груб.

Кожа мыслит и обретает выражение. Песня без слов? Музыка без звуков.

В «Ромео» есть мгновение, когда произнесенная тишина, отомкнувшись от губ юноши, плывет, как воздушный шар, невидимая, но осязаемая, к пальцам Джульетты. Та принимает этот материализовавшийся звук, как вазу, в ладони, ощупывает пальцами.

Звук, воспринимаемый осязанием! В этом балет адекватен любви.

Когда разговаривают предплечья, думают голени, ладони автономно сообщают друг другу что-то без посредников.

Государство звука оккупировано движением. Мы видим звук. Звук — линия. Сообщение — фигура.

Параллель с Цветаевой не случайна.

Как чувствует Плисецкая стихи!

Помню ее в черном на кушетке, как бы оттолкнувшуюся от слушателей. Она сидит вполоборота, склонившись, как царскосельский изгиб с кувшином. Глаза ее выключены. Она слушает шей. Модильянистой своей шей, линией по-

звоночника, кожей слушает. Серьги дрожат, как дрожат ноздри.

Она любит Тулуз-Лотрека.

Летний настрой и отдых дают ей библейские сбросы Севана и Армении, костер, шашлычный дымок.

Припорхнула к ней как-то посланница элегантного журнала узнать о рационе «примы».

Ах, эти эфирные эльфы, эфемерные сильфиды всех эпох! «Мой пеньюар состоит из одной капли шанели». «Обед балерины — лепесток розы»...

Ответ Плисецкой громоподобен и гомеричен.

Так отвечают художники и олимпийцы.

«Сижу не жрамши!»

Мощь под стать Маяковскому. Какая издевательская полемичность!

Я познакомился с ней в доме Л.Ю.Брик. На стенах ухмылялся в квадратах автопортрет Маяковского.

Женщина в сером всплескивала руками. Она говорила о руках в балете. Пересказывать не буду. Руки метались и плескались под потолком, одни руки. Ноги, торс были только вазочкой для этих обнаженно плескавшихся стеблей.

В этот дом приходит опасно. Вечное командорское присутствие Маяковского сплющивает ординарность. Не всякий выдерживает такое соседство. Майя выдерживает. Она самая современная из наших балерин. Век имеет поэзию, живопись, физику и нащупывает современный полет балета. Она — балерина ритмов XX века. Ей не среди лебедей танцевать, а среди автомашин и лебедек! Я ее вижу на фоне чистых линий Генри Мура и капеллы Роншан.

Красота очищает мир.

Париж, Лондон, Нью-Йорк выстраивались в очередь за красотой, за билетами на Плисецкую.

Как и обычно, мир ошеломляет художник, ошеломивший свою страну.

Дело не только в балете. Красота спасает мир. Художник, создавая прекрасное, преображает мир, создавая очищенную красоту. Она ошеломительно понятна на Кубе и в Париже.

Ее абрис схож с летящими египетскими контурами.

Да и зовут ее кратко, как нашу сверстницу в колготках, и громоподобно, как богиню или языческую жрицу, — Майя.

Незадолго перед своей кончиной мне в Москву позвонил Кирилл Дмитриевич Померанцев — древнейший подвижник поэзии, душеприказчик Георгия Иванова, рабочий хребет газеты «Русская мысль». С 60-х годов мы были дружны, встречались, когда я бывал в его Париже, но сюда он никогда мне не звонил, опасаясь телефонных проводов, — боялся повредить мне своей «белогвардейщиной».

Его хриловатый голос читал мне на бульварах Георгия Иванова, он болел за тех, кто остался в стране.

Как-то узнав, что Владимир Максимов собрался эмигрировать, он обеспокоенно попросил меня: «Прошу тебя, передай ему от моего имени, чтобы он ни в коем случае не уезжал, он порвет пуповину. Он погибнет в нашем болоте».

Когда-то на заре туманной юности, только что опубликовавший «Мастеров» в «Литературной газете», наглая молодая звезда русской поэзии, я поднимался в редакционном лифте. Иссиня-бледный попутчик сверлил меня бешеным взглядом.

— Мы все ваших «Мастеров» читали. Восторг!
Играя под надменных своих коллег, я спросил:
— Кто это мы?

— Да все мы, обитатели психушки.

Тут лифт застрял между этажами. Боже мой! Я заперт в кабине с психом.

— Давайте знакомиться, — усмехнулся псих. — Владимир Максимов, поэт я херовый, но прозу пишу — дай Бог.

И протянул мне сухую птичью ладонь с тюремными перебитыми сухожилиями. В его разговоре проступала блатная феня.

«Литерат-урка», — подумалось.

С тех пор начались наши отношения. Мне нравился его «Двор посреди неба». Внешне рисунок поведения у нас был разный, он вошел в редколлегию «Октября», написал восторженный отклик о встрече Хрущева с интеллигенцией — но все это как бы шло мимо нас. Меня привлекал его исступленный, порой истерический стон о России. Он просиживал в кофейном зале ЦДЛ, как совесть низов. Он первый рассказал мне о расстреле в Новочеркасске. На Таганке он познакомил меня с Сахаровым.

К счастью, Померанцев ошибся. В Париже Максимов основал журнал «Континент» — «общак» для эмиграции. Мои друзья, западные либеральные интеллектуалы, не переносили его. Еще бы! Он дружил со Штраусом, издавался на деньги Шпрингера. Встречаясь, мы часто вздорили с ним. Помню мое возмущение его «Сагой о носорогах», где он затронул Беллу и Бориса. Но странное дело. Мы как бы дружили.

Каждый раз в мой приезд он тайком приходил и ждал на углу в кафе «Эскуриал». Или вел меня обедать в ресторанчик на его улочке. Не обижался, что я отказывался от его денег. Понимал, что мне ни к чему печататься в «Континенте» — у меня были «Галлимар», и «Монд», и «Нью-Йорк таймс». Все-

гда на моих вечерах он восседал в первом ряду, возмущая моих врагов и друзей. А как отводил душу по поводу своего окружения: «Представляешь, с каким г... мне здесь приходится работать». Дальше следовали имена.

«Мой Савонарола» — называл его Равич, совесть эмиграции, прошедший немецкие лагеря.

Последнее время он часто приезжал в Москву, был как с содранной кожей. Кричал: «Какие же они русские интеллигенты! Подписали письмо за расстрел Белого дома!.. Но ты же не подписал...» Он рассорился с бывшими друзьями. Боль за Россию застилала ему глаза.

И прав, и не прав оказался Померанцев.

И вот слышу по телефону глухой от волнения и возраста голос Кирилла: «Андрей, я сейчас разбираю архив Георгия Адамовича. Я нашел там твои стихи, подаренные ему».

К стыду своему, я не помнил этих стихов. Голос из телефона прочитал:

Обдираючи аденоиды,
состраданием ночь омоючи,
в час всемирного одиночества
прокричу стихи Адамовичу.

И сразу в памяти всплыла типовая келья нью-йоркского отеля, где он остановился — где-то под небом, черт знает на каком этаже, чай с ромом — хозяин был простужен, мерцала надменная лысина, и взгляд — сначала отчужденный, потом отогрешившийся, потеплевший, взгляд чайного тона.

О чем проговорили мы эту ночь, чаевничая с ним — последним из основателей «Цеха поэтов», бессребреником Серебряного века, ментором эмигрантской музыки, законодателем вкуса, имевшим характер и право отчитывать Цветаеву и

Набокова, на равных спорившим с Ходасевичем, а через него — с Пушкиным?

К тому времени он отклонялся акмеизму, о Гумилеве говорил вежливо, но холодно. Помолодел, когда речь зашла о Поплавском. Просил читать стихи. Расспрашивал жадно о новом в литературе отечества — для него процесс культуры был един, не разделяем границами. «Вам пишется?» — с нервной хрипотцой спрашивал он. И не так проста оказалась его декларируемая «простота», толстовская безыскусственность, которой он был известен.

Ныне многие бездумно, как попки, затвердили формулу:

...Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.
Но мы пощажены не будем,
Когда ее не утаим.

После этой беседы по-иному мне открылась трагичность его мысли, оплаченной опытом жизни:

«Стоит только пожелать простоты — простота разьет душу серной кислотой, капля за каплей. Простота есть понятие отрицательное, глубоко мефистофельское и по-мефистофельски неотразимое. Как не хотеть простоты и как не достичь ее, не уничтожившись в тот же момент! Все не просто. Простота есть ноль, небытие».

Это о себе написал он. Он был скуп на стихи. С годами еще скупее. В эмиграции выпустил книгу «На Западе». Потом перестал писать стихи. Простота сожрала его. «Но мы пощажены не будем...»

Полемика его с Ходасевичем — что важнее в стихах: «мастерство, поэтическая дисциплина» или «безыскусная чело-вечность» — была спором, который каждый поэт ведет с собой всю жизнь.

Почему он пригласил меня к себе? Чем дорога и необходима стала мне эта встреча? В отечестве нашем в те годы критика оборачивалась журналистикой — раздолбать или продвинуть, — тосковалось по текстовому анализу, по гамбургскому счету. Мне, в башке которого был сумбур из поставангарда, Раушенберга, Хайдеггера, позднего и раннего Пастернака, много дали эти тихие беседы с Георгием Викторовичем, как еще ранее с Глебом Струве, многолетние собеседования со «странником» Иоанном Сан-Францисским. Получалось, что за океаном ты находил заповедную русскую культуру. Как и они, Адамович не был заглавной буквицей российской поэзии. Он был прописной ее буквой, из тех, которые слагаются в текст.

Порой более громкие судьбы заслоняют их от нас, но они — сердцевина текста культуры. Поэты-критики, эрудиты, камертоны вкуса, труженики культуры, их дар анализа не менее важен, чем стихотворный. Порой одно противоречит другому. Именно поэт, в противовес находящемуся внутри него критику, испытывал страсть к сочным, размашистым стихам и жизненному жесту Поплавского.

Как и пожизненный сердечный друг его, другой Георгий — Иванов, отойдя от гумилевского кристалла формы, Адамович писал уже не словом почти, а дыханием, осязанием:

Там, где-нибудь, когда-нибудь,
У склона гор, на берегу реки,
Или за дребезжащею телегой...
Не знаю что, не понимаю как,
Но где-нибудь, когда-нибудь, наверно...

Так акварелист порой берет темную цветную от мытья кистей воду непонятного, смутного уже цвета, который нельзя

ни разглядеть, ни повторить, и пишет ею тени — этим странным, уже не цветом, а темным перламутровым тоном. Это на жаргоне живописцев называется «писать грязью», то есть не чистым цветом, а помесью, тенью от всех цветов. Так поэт писал уже душою, преодолев плоть стиха.

Наши переделкинские деревянные дома ветшают. Тепло и кровообращение в них поддерживают скрытые от глаз архаичные газовые агрегаты, называемые АГВ. Их тайный пламень — не роскошь трещащих и стреляющих искрами поленьев, не языческие оргии огня, не авангардные спирали электричества. Их бесшумная синева скрыта в котельной. Поклонимся этим невидимым хранителям нашей температуры, дистанционным хранителям очага.

Поклонимся столетнему Адамовичу Георгию Викторовичу — АГВ акмеизма и русской культуры.

Чувственный, точно Фауст,
докрасна раскаленный куст...
Август.
АГВ уст.

Человек с древесным именем

Когда я встречал его, я вспоминал строки:

И вот, бессмертные на время,
Мы к лику сосен причтены
И от болезней, эпидемий
И смерти освобождены.

По-сосенному осенний, по-сосенному высоченный, он, как и они, смежал ресницы с сумерками и пробуждался со светом, дети затевали костры и хороводы вокруг него, автобусные и пешие чужестранцы съезжались глянуть на него, как на диковину среднерусского пейзажа, ну, как на древо Толстого, скажем, когда он быстро, не сутулясь, в парусиновой своей кепке, почти не шагая, струился по переделкинской дороге, палка в его руке была естественным продолжением руки, суком, что ли.

Он жил, как нам казалось, всегда — с ним раскланивались

Л.Андреев, Врубель, Евгений Шварц, изводимый им до ненависти, служил у него в литературных секретарях. Человек с древесным именем и светлыми зрачками врубелевского Пана.

Даже румяное радушие его, многими принимаемое за светское равнодушие, было опять их, сосенной добротой и отстраненностью — когда они верхами уже окунуты в голубое.

Он и стихи писал на каком-то лесном, дочеловечьем, табарбарском еще бормотании. По-каковски это?

Робин-Бобин Барабек
Скушал сорок человек...

Это мир яркий, локальный по цвету, наив, блещущий и завораживающий, как взаправдашняя серьга в ухе людоеда, чудовищно фантастический и конкретный мир. Еще Сальвадор Дали не объявлялся, еще Диего Ривера не слал толпы на съедение, а он уже подмигивал нам:

И корову, и быка,
И кривого мясника.

Тяга к детям была его тягой к звену между предрациональной природой и между нашей, по-человечески осмысленной, когда, дети природы, мы не отлучены еще от древесных приветствий, смысла, бормотания птиц и ежей — не утеряли связи еще с ними, тяги быть соснами не забыли.

Его «Чукоккала» — лесная книга, где олимпийцы дурили, шутили, пускали пузыри.

Я написал в «Чукоккалу»:

Или вы великие,
или ничегоголи...

Все Олимпы липовы,
окромя Чукоккалы!

Не хочу кока-колу,
а хочу в Чукоккалу!

Шум, стихия языка, наверное, самое глубинное, что нам осталось. Он был его лесничим. Экология языка его пугала.

Язык его был чист, гармоничен, язык истинно российского интеллигента. От российской интеллигентности было в нем участие к ближнему, готовность к конкретной, не болтливой помощи, отношение к литературе как к постригу.

На себе я это ощутил. В пору моей допечатной жизни стихи мои лежали в редакции «Москвы». Не говоря мне ни слова, Пастернак попросил Чуковского заступиться. Тот мгновенно написал в журнал. Стихи не пошли, понятно. Но не в этом дело. Пастернак смеялся потом: видно, «Корнюша» написал слишком обстоятельно, докопался до сути и этим вспугнул издателя.

С легкой руки Корнея Ивановича мы подружились с Олей, изысканной парижанкой, внучкой Леонида Андреева. Она издала в Америке первую серьезную антологию русской поэзии XX века, назвав ее «Поэты на перекрестках». Переводы в ней принадлежали перу Роуз Стайрон. Там впервые в главе «Барачные поэты» были напечатаны стихи Г.Сапгира и И.Холина. По просьбе Оли я вывез рукопись этой книги за границу.

Староэмигрантская среда помнила Корнею Ивановичу какие-то грехи и коварство, но именно этот создатель Айболитов и Бармалеев бросил вызов Системе, поселив у себя Солженицына.

Однажды Солженицыну понадобилось съездить в Москву. Он попросил нас отвезти его. Шел дождь. Дороги развезло. И наша «Волга», сбуксовав, попала в кювет перед дачей Чу-

ковского. Солженицын, могучий бывалый лагерник, вышел и толкал машину сзади у правого колеса. Я толкал слева. Зоя, сидя за рулем, раскачивала машину. Грязь из-под колес обливала с головы до ног. Солженицын не обращал на это внимания. Вытащив машину, пошли мыться обратно на дачу к Чуковскому. Корней Иванович, усмехаясь и причитая, дал нам утереться.

Так, не обсохнув, Александр Исаевич ехал с нами до Москвы. Единственное, о чем он просил по дороге, — не превышать скорость.

Так написались стихи «В дождь, как из Ветхого Завета...»:

В нем русское благообразие
шло к византийской ипостаси.
В лицо машина била грязью
за то, что он ее вытаскивал.
Из-под подфарника пунцового
брандспойтово хлестала жижа.
Ну и колеса пробуксовывали,
казалось, что не хватит жизни!..

Конечно, напечатать эти стихи в периодике оказалось невозможным. Стихи эти вышли в книге «Дубовый лист виолончельный» почти одновременно с высылкой Солженицына.

Радушному и лукавому Корнею Ивановичу — среди равнодушных обычно литераторов — всегда было дело до вас, он то приводил к вам англоязычных гостей, то сообщал, где что о вас написано. Правда, похвала его была порой лукава и опасна, он раздвигал зазевавшегося хвалимого перед слушателями. Под улыбкой его порой проглядывала сладострастная издевка.

А каков был слух у него!

Как-то он озорно «показал» мне М.Баура и И.Берлина — оксфордских мэтров. Он забавно бубнил, как бы набив рот кашей.

Через год в Оксфорде я услышал в соседней комнате знакомый голос. «Это Баура!» — сказал я удивленным спутникам. Я узнал звуковой шарж Чуковского. А на следующий день я смаковал звуковое сходство И.Берлина.

Умнейший муж Европы, душеприказчик Ахматовой, рафинированно образованный сэра Изайя Берлин дымил сигарой в креслах Английского клуба. Когда-то он посещал Пастернака и провел ночь в беседах с Ахматовой, чем, по ее словам, вызвал гнев Сталина. «И она считала, что тогда Сталин решил начать «холодную войну». Из-за нас». Об Ахматовой он гудел восхищенно и иронично. «Она не могла простить мне моей женитьбы... Хотя, вы понимаете, о близости с ней не могло быть и речи. Словно обнимать античную статую».

О Ленине он сказал: «Он был объективно преступник, но субъективно он не был им». Поэтический нюх и вкус не исчез у сэра Изайи с возрастом. Каждый раз попадая в Лондон, я виделся с ним. Или в его комнатухе в Оксфорде. Или в лондонских клубах. Он написал предварительные слова к моей последней английской книге, где вспоминал, как Пастернак рассказывал ему обо мне.

В своем философском эссе он делил интеллигенцию на ежей и лис. То есть на непримиримых, выпускающих иголки, и на лис — плюралистов. Я высказал предположения, что сейчас появился гибрид ежа с лисьим хвостом.

Когда-то Переделкино было полно ежей. Осенние канавы шуршали листвой и посапывали. Сейчас не найдешь ни одного ежа. Вероятно, экология. Впрочем, и с лисами тоже проблемы.

Корней Иванович был мудрым лисом.

Читал он все.

Вот записка, которую я получил от него из больницы.

Буквы на ней прерываются, дрожат, подсакивают. Оказывается, он прочитал в «Иностранной литературе» мою заметку о пастернаковских переводах. Надеюсь, читатель не упрекнет меня в том, что я привожу это лестное для меня письмо Корнея Ивановича. Оно дорого как его последний привет.

«Дорогой Андрей Андреевич, вот как нужно писать рецензии. Нервно, вдохновенно, поэтично. С завистью читал пронзительный очерк о пастернаковских переводах... Пишу это письмо в палате Инфекционного корпуса. Прочитал Вашу статью трижды — и всякий раз она казалась мне все лучше. Будьте счастливы. Привет Озе.

Совсем больной и старый

Ваш Чуковский.

15.2.68 г.»

Я ошибся, относя к нему строки о неубиваемости сосен.

Укол непродезинфицированного шприца заразил его желтухой. Смерть всегда нелепа. Но так...

Виртуальные витражи

Однажды, выступая в пурпурнокресельном нью-йоркском зале «Карнеги-Холл», я читал свои «Васильки Шагала». После выступления мне передали письмо, написанное мелким почерком. Под ним стояла подпись: «Белла Шагал».

На следующий день, по-студенчески просто одетая, она рассказывает мне о последних минутах деда. Он умер в своем доме, среди зелени Поль де Ванса. Марк Захарович находился в кресле-каталке и опочил, когда его подымали в лифте на второй этаж. Умер со слабой улыбкой на тонких губах — умер, взвиваясь в небо, летя.

На его картинах парят горизонтальные скрипачи, ремесленники, влюбленные. Он к ним присоединился.

Небо, полет — главное состояние кисти Шагала. Вряд ли кто из художников так в буквальном смысле был поэтом, как этот сын витебского селедочника. Безумные василькового цвета избы, красные петухи, зеленые свиньи, загадочные саркастические козы — все увидено взглядом поэта. Не случайно его любил Аполлинер.

В преддверии нынешнего слияния космоса с землей Шагал ввел небо в быт, а быт городишек пустил по небесам. Белка и Стрелка с задранными хвостами, пересекающие небосклон, могли бы быть персонажами Шагала.

Я познакомился с Марком Захаровичем Шагалом в феврале 1962 года, о чем напоминает дата под первым его подаренным рисунком. Голубая дева в обнимку с ягненком летит над Эйфелевой башней. После этого мы много встречались, если учитывать дистанцию между Москвой и Парижем, и в его квартирке над Сеной, и в доме его дочери Иды, которая была ангелом для вернисажей, а позднее на юге, где его муза и супруга Вава — бакинка Валентина Григорьевна — вносила олимпийскую гармонию в наш суетный быт.

В каждый приезд во Францию я посещал голубого патриарха мировой живописи. Он часто вспоминал Маяковского, припоминал надпись поэта ему на книге, где Шагал, конечно, рифмовался с глаголом «шагал». Странно было знать, что этот тихий, застенчивый и деликатный человек с белыми кисточками бровей, таращащий в шутовском ужасе глаза, если кто-либо говорил о его славе, был когда-то решительным комиссаром революционного искусства в Витебске. Витебляне помнят, как он возглавлял оформление улиц во время городских праздников. Правда, мало кто уцелел от времени и иных причин из свидетелей тех торжеств.

Какой радостью для него было разглядывать при мне фотографии его родной улочки, присланные ему.

Синяя бабочка, как летела ты, выбиваясь из сил, через Карпаты, Пиренеи, через мировую тоску и океаны!

Шагал весь светился, казался нематериальным и будто все извинялся за свою небесность.

Был он бескорыстен.

Когда после хлопот Мальро он расписал потолок «Гранд-Опера», расписанный овал оказался меньше нужного размера. Мастер добавил золотое кольцо. И сам заплатил за него.

Однажды он пригласил меня поехать с ним в Цюрих, на открытие его синих витражей в соборе. Опять он делал их бесплатно, как дар городу, как дар синего неба из окна. Он и в этом был поэтом.

Меня поразила на торжественном открытии витражей в соборе толпа брейгелевских персонажей, разодетых в меха и бриллианты. «Почему они такие?» — спросил я Шагала. «Ах, Андрей, — ответил художник. — Это богатые семьи. И они смешиваются только друг с другом... Вырождение!»

В выпуклых стеклах витражей, как в зеркалах смеха, кривлялись и насмехались роскошные рожи.

Второе тысячелетие на исходе, а я все пытаюсь постичь христианство стекла. Почему прозрачное стекло явилось нам, в Европе, именно в I веке, одновременно с Новым Заветом?

Цветное стекло, этот загадочнейший из материалов, родилось в Древнем Египте, самой мистической из цивилизаций, когда выход в астрал бытовал как обычное явление. Оно оставалось непроницаемым — черным, желтым, коричневым, голубым, — пока из темного света глубин Ветхого Завета не наполнилось прозрачным бесцветным светом. Настала новая эра — эпоха христианства и стекла.

В стекле преломляются потусторонние пространства.

Прозрачность — сестра христианства, растворение в безграничном. Так Франциск Ассизский и Клара, влюбившись, растворились в иных измерениях. Окрестные леса озарились сиянием. Жители Ассизи и Беттоны решили, что это пожар, и сбежались тушить его. Свет задержался, преломившись в кафедральных витражах.

Непроницаемый ислам глазури. Буддизм фарфора. Кристалл христианства.

Давно еще, работая над сооружением витражей, вспоминая советы Шагала, сваривая каркасы, я пытался на ощупь понять смысл стекла как идеалистического материала. Стояли соты света. Они и отражали и впитывали свет. Особое наслаждение, когда работаешь с литым сколотым стеклом толщиной до 250 миллиметров. Везет, когда сколы пузырчатые, как текст «Улисса». Хорошо, если рядом находится плавильная печь.

Оптика, масса, свет, выход в иные пространства — все это сближает стекло с материалом слова. Если проза может быть дубовой или каменной, то в стекле таится, конечно, поэзия. И в русском и во французском «стихи» и «стекло» звучат подобно. До сих пор Гумилев для меня — плоскостной витраж, Кузмин — венецианское стекло, Вяч. Иванов — грани католицизма, Хлебников — толщ оптики, когда слово преломляется, множится, отражается. Его палиндромические поэмы, читаемые наоборот, множат смыслы, будто вещи из объемного отражающего стекла, порой с посеребренными плоскостями, как у нынешнего немца Эйша.

Природа в жемчужине создала живое стекло, умирающее без общения с человеческим биополем. Так и стихи.

Опыт стеклопластики я пытался перенести в стихотворную книгу «Витражных дел мастер». Тем более что в те времена в типографии соединяли слова свинцовым набором, как в витражах осколки света соединяются при помощи свинцовых прутков и тяжей. Хулители сразу обвинили книгу в масонстве (даже в массмасонстве, учитывая тираж), разоблачив в термине «мастер» иерархию вольных каменщиков.

Увы, в простительной темноте своей они не ведали, что первые цветные витражи появились не у католиков, а в IV веке в Византии, в Соборе св. Софии. Цензуру испугала

строка: «За окнами пахнет средневековьем», она обиделась за эпоху. Думаю, для сегодняшних наших варварских дней это звучало бы комплиментом. Читая сейчас свои старые строки, я с ужасом думаю, что, может быть, и правда они прибавляют к моим грехам предсказание нынешних рыночных отношений?

Ко мне прицениваются барышники.
Клюют обманутые стрижи.
В меня прицеливаются булыжники.
Поэтому я делаю витражи.

Какой будет она, новая эра, после нашего тысячелетия христианства и стекла?

Марк Захарович до конца своих дней работал каждое утро. Огромные холсты, записываемые его легкими тонами, являли собой жизнь и, может быть, продляли этим его летучий срок на земле.

Он иллюстрировал гоголевскую поэму «Мертвые души» — какая поэтическая, летящая за окном Россия в этих гравюрах! Поэзию он видел в уродливой для обывателя жизни, поэтизируя быт, открывая новую красоту; предметы, оттертые от пыли его взглядом, сверкали, как бриллианты.

По-детски он счастливо сиял, демонстрируя вам орден, бриллиантовые звезды и муаровые ленты, дарованные ему королями и президентами.

Внимательно глядят коренастые верные слуги художника — португальская чета. После его смерти они разворуют холсты и перережут друг друга...

Он был мужественным, этот тихий удивленный человек. Однажды мне довелось стать свидетелем тому. Летом 1973 года я был с выступлениями в Париже. В это время Шагал,

приняв приглашение Министерства культуры, собирался приехать к нам. Это был первый его визит после отъезда в двадцатые годы и, увы, как оказалось теперь, единственный. Он расспрашивал — какая она нынче, Москва? Есть ли на улицах автомобили? Он помнил Москву разрухи двадцатых годов. Полет был назначен на понедельник. Тогда был рейс Аэрофлота.

Увы — в субботу стряслось страшное. На глазах парижан во время демонстрации на Парижской авиавыставке красавец «Ту» потерпел в небе аварию и разбился. Погибли наши испытатели. Накануне я разговаривал с ними. Заснятый момент катастрофы показывали по несколько раз на телеэкране в замедленном темпе. Мы с ужасом вновь и вновь проглядывали эти кадры.

В стихах «Васильки Шагала» я так записал это:

С вами в душераздирающем дубле
видели мы — как за всех и при всех
срезался с неба парижский «туполев».
В небе осталось шесть человек.

Шагала отговаривали лететь на «Ту». Советовали или отменить полет, или лететь на «Эр Франс». Шагал полетел в понедельник.

Я прилетел в Москву несколько дней спустя после приезда Шагала. Он поехал с Вавой и Надей Леже.

В Большом театре мы смотрели с ними балет «Кармен-сюита». В фойе, идя к выходу, Вава потеряла в толпе тяжелую брошь. Пыталась вернуться за ней, но волна идущих людей празднично шла навстречу. Вава только махнула рукой. Так теряют что-то в море «на счастье».

Приехав к нам на дачу в Переделкино, Шагал остановился на середине дорожки, простер руки и остолбенел. «Это са-

мый красивый пейзаж, какой я видел в мире!» — воскликнул он. Что за пейзаж узрел мэтр? Мне было неловко за наш забор. Это был старый покосившийся забор, бурелом, ель и заглошшая крапива. Но сколько поэтичности, души было в этом клочке пейзажа, сколько тревоги и тайны! Он открыл ее нам. Он был поэтом. Не случайно он любил Врубеля и Левитана.

Давно, будучи в Витебске, написал я:

Если сердце не солгало,
то в каком-нибудь году
в Витебске в Музей Шагала
обязательно приду.

Знакомые мои лишь скептически усмехались, считая это черным юмором.

Шагал называл Париж своим вторым Витебском.

15 февраля 1944 года он опубликовал в нью-йоркской газете свое письмо-плач «Моему городу Витебску»:

«Давно, мой любимый город, я тебя не видел, не упирался в твои заборы.

Мой милый, ты не сказал мне с болью: почему я, любя, ушел от тебя на долгие годы? Парень, думал ты, ищет где-то яркие особые краски, что сыплются, как звезды или снег, на наши крыши. Где он возьмет их? Почему он не может найти их рядом?

Я оставил на твоей земле, моя родина, могилы предков и рассыпанные камни. Я не жил с тобой, но не было ни одной моей картины, которая бы не отражала твою радость и печаль.

Все эти годы меня тревожило одно: понимаешь ли ты меня, мой город, понимают ли меня твои граждане?

Когда я услышал, что беда стоит у твоих врат, я предста-

вил себе такую страшную картину: враг лезет в мой дом на Покровской улице и по моим окнам бьет железом.

Мы, люди, не можем тихо и спокойно ждать, пока станет испепеленной планета.

Врагу мало было города на моих картинах, которые он искромсал, как мог, — он пришел жечь мой дом и город.

Его «доктора философии», которые обо мне писали «глубокие» слова, теперь пришли к тебе, мой город, сбросить моих братьев с высокого моста в Двину, стрелять, жечь, «наблюдать с кривыми улыбками в свои монокли...»

«Кривые», — ах, это любимое словцо Мандельштама!..

Я приехал в метельный Витебск в канун Нового года. На площади устанавливали гигантскую, темную, еще не убранную, загадочную елку. Что хотелось бы увидеть на елке? Конечно, маленький музей Шагала. Увы, 10 лет пришлось ожидать.

Подъезжаем на улицу Дзержинского, бывшую 2-ю Покровскую, где чудом уцелел одноэтажный домишко художника. Он из красного узкого кирпича, о четырех окошках в белых окладах. Рамы крашены васильковым. Собака, именованная на воротах как злая, бешено срывается с цепи на поклонников Шагала. Собственно, художник родился не здесь, а под Витебском, в местечке Лиозно, где дядя его имел парикмахерскую, но младенца сразу же отвезли в город.

Нынешний хозяин дома, отрекомендовавшийся нам Зямой, маляр на пенсии, довоенным пацаном слышал рассказы очевидцев о жившем здесь лохматом художнике. Потолки высокие. На стене фотографии Зямы в орденах и медалях. За стеклом книжных полок вырезанный из журнала портрет Сталина в форме. На полках подписные издания, Фет, Есенин, Ахматова, ежится и моя книжонка.

Зяма говорит, что ранее на месте левого окна была дверь. И правда, снаружи видим следы заложеного кирпичом про-

ема. Так что реставраторам будущего музея есть работа, хоть и небольшая.

Война снесла 93% Витебска.

Американская комиссия считала невозможным строить на том же месте и рекомендовала перенести город. Провидение, видно, сохранило домик художника и псевдоампирный особняк начала века, в котором располагались УНОВИС — мастерские Малевича и Лисицкого.

Сохранился и памятник архитектора Фомина к 100-летию войны 1812 года, и чугунные орлы, и гранит целехоньки, лишь выщерблены осколками. Сейчас город известен станкостроительным и телезаводом, педагогическим и мединститутом.

Увы, белые витебские соборы, пощаженные войной, взорвали во время хрущевской компании люди, не любящие свою историю. Живописно расположенный на холмах и оврагах, город над Двиной утратил свой уникальный силуэт.

В городском архиве читаю выданный Луначарским мандат № 3051: «т. Художник Марк ШАГАЛ назначается Уполномоченным по делам искусств в Витебской губернии. Всем революционным властям предлагается оказ. тов. ШАГАЛ полное содействие». Прочитаем декрет грозного комиссара от 16 октября 1918 года: «Всем лицам и учреждениям, имеющим мольберты, предлагается передать таковые во временное распоряжение Художественной Комиссии по украшению г. Витебска к Октябрьским праздникам. Губернский Уполномоченный по делам искусств Шагал».

Смотрю искрящуюся от времени старую документальную киноленту праздника 1-й годовщины Октября в Витебске, декорированном Шагалом. Горожане в шинелях, узкоплечих пальто, усицах, с бантами в петлицах, семят на параде, машут нам широкополыми шляпами. Женщины несут палки

для шествия на ходулях. Улицы убраны гирляндами, шагаловским панно «Мир хижинам — война дворцам», и другим, где на гербе Витебска вместо рыцаря с мечом восседает на коне веселый трубач. На полотнищах бескомпромиссные и наивные формулы: «Дисциплина и труд буржуев перетрут» или «Революция слов и звуков». Обезумев, несется супремативно размалеванный трамвай.

В те годы 33-летний художник писал П.Эттингеру, давнему корреспонденту Р.М.Рильке: «В Витебске тогда много было столбов, свиней и заборов, а художественные дарования дремали. Оторвавшись от палитры, я умчался в Питер, Москву, и Училище воздвигнуто в 1918 г. В стенах его 500 юношей и девушек... Профессорствовали кроме меня — Добужинский, Пуни, Малевич, Лисицкий, Пен... При Училище есть драмкружок, который недавно поставил в гор. «Победу над Солнцем» Крученных».

Всех их, спасая от голода, а с ними и Татлина, и Фалька, и других, привлек в Витебск Шагал. Город стал центром революционной интеллигенции.

Эйзенштейн, приехав, был изумлен: «Здесь главные улицы покрыты белой краской по красным кирпичам. А по белому фону разбежались зеленые круги. Оранжевые квадраты. Синие прямоугольники. Это Витебск 1920 года. По кирпичным его стенам прошла кисть Казимира Малевича».

Увы, волевой Малевич вскоре стал духовным властелином Витебска. К нему перебежали ученики Шагала. Понятно, их пламенные сердца увлеклись формулами супрематизма. Они предали учителя.

Так же когда-то Мандельштам вызывал на дуэль Хлебникова, а Блок — Андрея Белого.

Самолюбивый художник покидает родной город, а через пару лет и страну.

Лишь в Витебском архиве остался приказ № 114 от

29 июля 1920 г. «Завсекцией изо подотдела искусств художник Шагал за переездом в Москву освобождается от занимаемой должности. Временно заведывание секцией изо возлагается на заведующего музейной секцией художн. Ромма». От Ромма сохранилась рукопись очень интересных мемуаров, где он обвиняет Шагала в деспотизме и иных грехах. Кто рассудит художников? Думаю, их полотна.

Еще в 1936 году он писал на родину: «Меня хоть и во всем мире считают «интернац.» и французы рады вставлять в свои отделы, но я себя считаю русским художником и мне это так приятно». Однако и в БСЭ мы читаем тупое: «Марк Шагал — франц. художник».

Глядя на оставшиеся кубики домишек «на Песковатиках» и в старых кварталах центра, понимаешь источник чувственной манеры Шагала. Да, он учился и у Сезанна, и кубисты влияли на него, но именно так покрывали холмы и овраги плотные по цвету локальные плоскости витебских халуп.

Работники краеведческого музея вынимают мне 12 полотен Ю.Пена, мастера репинской школы, учителя Шагала. Как помнил добро великий ученик! Предавая учителя — предаю прежде всего себя, свет в себе.

«Я вспоминаю себя мальчиком, когда я подымался на ступеньки Вашей мастерской. С каким трепетом я ждал Вас — Вы должны были решить мою судьбу в присутствии моей покойной матери... Мы не ослеплены. Какая бы крайность ни кинула бы нас в области искусства далеко от Вас по направлению, Ваш образ честного труженика — художника и первого учителя все-таки велик. Я люблю Вас за это». Это письмо 1921 года.

А хранительница музея высвобождает из казенного конверта парижскую открытку, помеченную 7 января 1937 года: Витебск. Художнику Ю.М.Пену: «Как Вы живете? Уже давно от Вас слова не имел, и как поживает мой любимый город?»

Я бы, понятно, не узнал его... И как поживают мои домики, в которых я детство провел и которые вместе с Вами писали...»

Остальные слова погублены, вырезаны из открытки вместе с маркой местным любителем филателии. Знал бы он, что эти слова на обороте клочка картона ценнее любой марки!.. Остались обрывки фраз: «Когда помру... обещаю Ва... Преданн...» Застала ли открытка Пена? В том же году старый мэтр был зарублен топором.

Пену уже больше не напишешь, и он пишет в 1947 году тому же П. Эттингеру, которого, забыв про Пена, называют теперь единственным корреспондентом художника в нашей стране:

«В Париже сейчас в Музее Art Modern происходит моя большая ретроспективная выставка почти за 40 лет работы. Успех, как пишет пресса, громадный. Это первый раз, когда делают выставку живого художника в официальном музее вообще, и в частности русского. И хотя я вынужденно жил вдали от родины, я остался душевно верным ей. Я рад, что мог таким образом быть ей немного полезен. И я надеюсь, меня на родине не считают чужим. Не верно ли?»

Правда, однажды в письме он грустно обмолвился: «Мои картины по всему свету разошлись, а в России, видно, не думают и не интересовались моей выставкой...»

Приехав к нам в июне 1973 года, он подарил 100 листов своей графики и был огорчен, что к приезду организовали лишь скромную выставку литографий!

Многие годы интеллигенция, прежде всего И. Антонова, боролась за то, чтобы устроить выставку Шагала в Москве. Я написал письмо М. Горбачеву — переданное из рук в руки, чтобы он разрешил выставку Шагала в Москве. После его решительной резолюции выставку пришлось открыть. Я в жизни два раза обращался с письмами наверх — один раз по поводу музея Б. Пастернака и проведения его столетнего юби-

лея в Большом театре и другой раз — о Шагале. Сейчас принято только ругать прошлых лидеров, но надо и добро помнить. (Правда, однажды я написал и Брежневу по поводу захоронения отца.)

Приехав, Марк Захарович мечтал о встрече с Витебском и боялся ее. Увы, просквозившись на балконе гостиницы, он простудился — и о поездке не могло быть и речи.

Как получилось, что родина художника оказалась единственной из цивилизованных стран, где при жизни и долгие годы потом не издано ни одного альбома, монографии, не было ни одной выставки его живописи? Имя его и произведения были долгие годы абсурдно запрещены.

В Витебском театре я спросил аудиторию: «Кто за музей Шагала?» Зал проголосовал «за». Я пошел к городскому начальнику. Тот тоже был «за», уверовав, что музей на благо городу, он принесет колбасу и дороги. Однако после моего отъезда прибыл официальный комиссар из столицы и разъяснил, что я — масонский агент, а Шагал — враг народа и т. д.

Тогда же появилась статья в «Вечернем Минске», подписанная зав. отделом Института философии и права АН БССР В.И.Бовшем: «Поэт А.Вознесенский выступил инициатором крикливой компании в связи со 100-летием со дня рождения художника-модерниста М.Шагала, связанного с Белоруссией фактом своего рождения, но с 1922 года и до смерти в прошлом году проживавшего во Франции и США. В творческом и гражданском отношениях он противостоял нашему народу».

Свое мнение опубликовал и Василь Быков: «...уж коль я заговорил об этом великом художнике, замечу, что белорусская интеллигенция благодарна Андрею Вознесенскому, напечатавшему свой очерк о Шагале в «Огоньке» и в этом попытке опередившему любого из нас. Конечно, поначалу мы

должны были написать о Шагале у нас, в Белоруссии. Но у нас, к сожалению, до сих пор существует разброд по отношению к имени, к творческому наследию ныне всемирно известного художника. Снова повторяется прежняя, почти библейская истина: нет пророка в своем отечестве. Уходит из жизни художник, и мы постепенно, с оглядкой на что-то или кого-то начинаем его признавать. Осенью я разговаривал с руководством Витебской области о создании музея Шагала, вроде бы возражений особых не было, но и дел конкретных тоже не видать».

Выхожу из драгоценной атмосферы архива и краеведческого музея, из химер минувших лет.

В витебской старинной кладке растворные швы голубеют — связующий раствор имел некий секрет, почему-то он голубого цвета.

Сквозь кирпичные фасады тонкой сеткой будто просвечивает небо. Отламываю крошку раствора — может, химическая экспертиза даст разгадку этого василькового синего — голубизны, пронизывающей Шагала?

Мне довелось переводить стихи Микеланджело. Это выпуклые, скульптурные строфы. Стихи Пикассо — аналитично-ребусные. Шагала всю жизнь писал не только в переносном, но и в прямом смысле. Стихи Шагала — это та же графика его, где летают витебские жители и голубые козы. Они скромны и реалистичны по технике.

Насколько знаю, стихи свои он издавал дважды в 1968 году тиражом 238 экземпляров. В издании было 23 цветных и 15 черно-белых автолитографий-махаонов. В 1975 году эта композиция переиздается в расширенном виде и сопровождается изящным предисловием Филиппа Жакота. Он подарил мне в Поль де Вансе в 1980 году книгу своих стихов, пе-

Невстреча у источника

Озаренная снегом череда фигур — девочка, качок в кожанке, двое деревенских, одна городская в цветастой куртке, как бабочка на снегу, и у всех в руках бидоны, пластиковые канистры, сумки с бутылками из-под «фанты» и «пепси» с притертыми пробками — это очередь к переделкинскому источнику.

Каждое утро я становлюсь в их черед. Вряд ли когда я встречу тех же людей снова.

По крутому склону к воде спускаются черные листовые железные ступеньки с выведенными на них автогеном женскими именами.

Наверху водоносов ждут «джипы», санки, ручные тележки, «Жигули» — приезжают аж за 40 километров.

Неизвестный умелец соорудил трубку, из которой идет усталая струя. Как крученный хрустальный отросток троса, она соединяет нас с экологически чистой стихией.

«Ты — символ России, изнедривающая струя», — повторим слова поэта.

Набоков — экологически чистый вкус языка.
Он — та бабочка, которая погибнет в загазованной среде.

* * *

Давайте, читатель, разглядим осыпавшиеся крылышки его четверостиший.

Вот васильковая расцветка «Первой любви»:

Твой образ, легкий и блистающий,
как на ладони я держу,
и бабочкой неулетающей
благоговейно дорожу.

Ах, Набоков — двуязыкая бабочка мировой культуры.

Все слова поэта цветные, зрительные. В письмах к сестре Елене он описывает своего сынишку: «Настоящей страсти к бабочкам у него нет. У него окрашены буквы, как у меня и как это было у мамы, но у каждой буквы свой цвет — скажем, «м» у меня розовое, фланелевое, а у него голубое».

Главное наслаждение произведений Набокова — осязать заповедный русский язык, незагазованный, не разоренный вульгаризмами, отгороженный от стихии улицы — кристальный, усадебный, о коем мы позабыли, от коего от вершинного воздуха кружится голова, хочется сбросить обувь и надеть мягкие тапочки, чтобы не смять, не смутить его эпитеты и глаголы. Фраза его прозы — застекленная как драгоценная постель, чтобы с нее не осыпалась пыльца.

С детства вторым языком автора был английский. «Лолиту» и «Другие берега» он написал по-английски, создавая самостоятельный русский вариант произведений. В обоих случаях язык его упоителен. Это почти единственный после Конрада случай в мировой литературе.

Владимир Владимирович Набоков принадлежит к старому дворянскому роду. Вместе с семьей, юношей, оказался за границей. Окончил Кембридж. На Новой Земле есть «река Набокова», названная в честь его прапрадеда, ходившего туда на корабле в 1816 году, его бабушке посвящал стихи Тютчев, отец его, человек долга и чести, член 1-й Государственной думы, погиб от пули, заслонив собой своего кумира Милюкова, считая, что закрывает собой Россию.

Стихи — это то, что нельзя написать на чужом языке. Это — неподконтрольное, это высшее, где уже не материя, а дух языка кричит, не прикрытый коронным «приемом» автора, что иноязычно не выразить — ни Пушкин, ни Цветаева, ни Рильке не сумели этого, — в стихах прорывается непере-водимое, голое чувство, тоска, судьба, а не литература, вопит слово «выть» — такое редкое для хрустального интеллектуализма художника.

По прозе пером его водила «с постоянством геометра» муза Геометридка, но в поэзии флейты его касалась губами простоволосая нимфа чувства, нимфетка, как потом он ее назовет.

Есть проза современных ему поэтов Пастернака, Мандельштама, Цветаевой, где сохраняется метод поэзии, захлебывается ритм, аллитерации, напор, здесь же, наоборот, мы видим поэзию прозаика, близкую Бунину, — вдруг четкая деталь сквозь слезы:

...угол дома, памятный дубок,
граблями расчесанный песок.

Не так-то беспечны его бабочки. Бабочка-память неотвязно напоминает ему желтой каймой своей зыбкую рожь, эта березовая греза-бабочка России всюду ностальгически

настигает его. Есть у него и стихи на английском, но, конечно, неудачные. Каждый, кто пробует писать стихи на неродном языке, расплачивается банальностью за кощунство. Для меня, например, это святотатство, я не пишу стихов по-английски, если не считать шуточных. Другое дело, когда в видеостихах русское «ТЕСНО МНЕ» зеркально отразилось в «ЕСНО WHEN».

Порой на набоковских крылышках среди своей пылицы отпечатаны тексты других поэтов.

Вот интонация Гумилева:

Мы, быть может, преступнее, краше,
Голодней всех племен мирских.
От языческой нежности нашей
Умирают девушки их.

Вот Пастернак:

И покуда глядел он на месяц
Синеватый как кровоподтек...

Вот его возлюбленный Ходасевич, которому он посвящал восторженные статьи:

Ах, если б звучно их раскинуть,
Исконный камень превозмочь,
Громаду черную содвинуть,
Прорвать глухонемую ночь.

Порой то Бальмонт, то Майков, то Мандельштам, то даже Маяковский отпечатается. Иногда он нарочито как бы пародирует. Есть такой вид бабочки, которая садится на лист, принимая как бы окраску листа (или коры, или цветка).

Прикидываясь листом, она остается летучей бабочкой и, обманув окраской, срывается в небо, в главном оставаясь собой — в полете. Необычен этот поэт Набоков, — если все поэты идут от сложности к простоте, то он и тут перечит. В ранних книгах 1922 года «Горный путь» и «Грозди» он начинает как романсовик, идя путем Апухтина, а то и Ротгауза, подписываясь псевдонимами В. Сирин или Василий Шишков:

Простим мы страданье, найдем ли звезду мы?
Анютины глазки, молитесь за нас...

Суровый критик за издержки вкуса называл его Бенедиктовым.

В книге 1952 года Набоков приходит к традициям Пастернака. Но и садясь на книгу Пастернака, он остается своей бабочкой. В лекциях своих он наивно раздраженно ниспровергает Толстого и Достоевского, называет Сартра модным вздором, Миллера — бездарной похабщиной. Движимый не самими почтенными чувствами, он обзывает Бенедиктовым... Пастернака — более сильного, чем он, поэта, не в силах освободиться до конца жизни от влияния его интонации. Ах, бедная тень Бенедиктова! Кто только не тревожил тебя... Но простим эти слабости за боль его, даже за один этот его глубокий вздох:

Моя душа как женщина скрывает
И возраст свой и опыт от меня.

Гиппиус назвала его талантливым поэтом, которому нечего сказать, не заметив, что подробности жизни и слова стали содержанием его. И сквозь этот яркий, отчетливый мир проступает:

Я помню, над Невой моей
Бывали сумерки как шорох
Тушующих карандашей.

Вот он пишет сестре:

«Ника уже развелся со второй женой-американкой». Я знал этого «Нику», композитора Н.В.Набокова, его третья жена Патриция Блейк редактировала мое первое «Избранное» в американском издательстве. Встретиться с В.Набоковым было бы просто, но мешала некая целомудренность. Я боялся нарушить хрустальный образ, боялся, что пыльца останется на пальцах. Мастер был труден в общении. Грэм Грин, давший мировую славу его «Лолите», защитив ее от цензурных запретов и выведя в кинозвезды, чтя автора как писателя, сдержанно отозвался о нем как о личности. Проза его магична — его школу прошли и поздний Катаев, и Битов, и многие.

Всю жизнь он прожил в гостиницах, отказываясь покупать и обживать свой дом вне дома.

Как поэт, он снимал номера у Пастернака.

И Николас, и Патриция не советовали мне встречаться с Набоковым. «Ну как вы поступите, Андрюша, если он при вас будет ругать Пастернака?»

Патриция Блейк, сероглазая, стройная, некогда модель «Вога», девочкой бывшей подружкой Камю, приехала в Москву корреспонденткой журнала «Лайф», попала в наш Политехнический и стала наркоманкой русской культуры.

В предисловии к сборнику «На полпути к луне» она записала свой разговор с В.Кочетовым, официальным классиком и пугалом для нашей интеллигенции.

«Номенклатурный писатель встретил меня, широко улыбаясь: «Вы видите, я не ем младенцев...»

«Вы пришли к нему наверное после обеда, он уже отку-

шал их», — сказал мой московский приятель». Этим приятелем, увы, был я.

Кочетов отомстил и Патриции, и мне в романе «Чего же ты хочешь?» Там шпионка Порция Браун инструктирует в постели гнусного поэта: «Надо писать стихи якобы про Петра I, имея в виду Сталина». В известной пародии шпионка звалась «Порция Виски».

К тому же она написала статью об антисемитизме, что окончательно сделало ее персоной нон-грата.

Но она продолжала неистово любить русскую литературу. Для моего тома она впервые на Западе применила русский метод перевода — когда с помощью блестящего лингвиста Макса Хейворда стихи переводили лучшие американские поэты У.Х.Оден, С.Кюниц, Р.Вильбур, В.Смит.

О Набокове я слышал от нее и княгини Зинаиды Шаховской. Ревновавший Пастернака к Нобелевской премии, великий Набоков, как поэт, до конца дней не освободился от пастернаковского влияния.

А проза?

Вспомним великую набоковскую книгу «Лужин». Вы помните, как герой, шахматный русский гений, выходит на лунную террасу немецкого городка? Ему мерещится его соперник Турати. Ночь полна белых и черных фигур. Деревья — фигуры. Лунный свет делает террасу схожей с шахматной доской. Ему на колени садится возлюбленная. Он ссаживает ее. Она свидетель его муки. Ночь — черно-белая шахматная партия.

Где мы читали это? Русский глядит на марбургскую ночь.

Пастернаковский «Марбург» — завязь набоковского романа.

Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу...

И страсть, как свидетель, седеет в углу...
И тополь — король. Я играю с бессонницей...
И ферзь — соловей. Я тянусь к соловью,
И ночь побеждает — фигуры сторонятся...

Игра родилась раньше человека. Что за шахматы играют нами?

Шахматы начинают и выигрывают

Они съели все фигуры, весь офицерский корпус, черные и белые, они съели чемпиона и претендента, машину IBM, пол-Каспарова и остальные полчеловечества.

Не зажигайте в окнах свет — они проникнут в квартиры через белые квадраты окошек, не тушите свет — они проникнут через черные квадраты.

Малевич распался на суверенитеты.

ХАМЫ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ

Ленин съел шахматы. А кто съел Ленина?

Русский мат — X — угрожает Европе, X похож на знак умышления, X зачеркивает крест-накрест ценности в супермаркете.

ХОХМЫ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ

Мы с тобою играли в Шахматове.

Вместо закатившегося под скамейку короля ты поставила губную помаду, вместо туры — огарок свечки. Шах! А где твой король?!

— Не ревнуй. Должна же я поправить губы.

Ты загорела. Ты — темная фигура. В тебе сумерки подсознания.

Темен загар твой и одновременно светел. Я обучаю тебя черной и белой игре.

Согни Нью-Йорк пополам квадратами вверх, внутрь доски засыпь фигуры, белых сенаторов, черные блюзы, статую Свободы — ну и сэндвич интеллектуалов!

ШАМАНХЕТТЕН НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ

США — это С 6 А, СНГ — С — это слон, Н — это клетка, а что такое Г? Ах, это ход конем... Кентавр — это конь верхом на Екатерине Великой, как рассказывала выпускница Сорбонны. Конь Калигулы ходит свастикой.

МАХИ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ, ведя сеанс одновременной игры.

— Вилка?! — парируешь ты. — Это королева на штыке революции. Королеву на эшафот! Каждая может управлять государством.

— Шахматы — это нашинкованная зебра, — объясняю я.

— Зебра — это вегетарианский тигр, — парируешь ты.

А жирафа — выросший мухомор.

ЧЕРЕПАХА ВЫИГРЫВАЕТ БЕГ ИСТОРИИ

Мы с тобою играли в Шахматове.

Ты проиграла плащ, сняла шелка и туманы. Но опять проиграла.

Я догадываюсь, что ты жульничаешь, чтобы проиграть.

Ты осталась в одних контактных линзах. Опять проиграла.

Ослепла. Пошла вслепую. Опять проиграла.

Раба чести, ты сняла свою темно-золотую кожу. Вот вам! Сейчас мы увидим, что у тебя светится внутри. Ты сидела смущенная, как ало-сизый анатомический театр, пульсируя изнутри, как мигалка автоинспектора. Опять проиграла. Ты отстегиваешь левую мерцающую икру и шлепаешь на стол — нате, жрите! Мы съели. На стол летят печенка, почки, светящаяся вырезка с седалищным нервом. Мы съедаем. Наши

желудки временно светятся. Ты наливаешь черный кофе в коленную чашечку, выпиваешь и бросаешь нам. Я замечаю, что живот у шныряющей тут кошки начал светиться. **МОХНАТЫЕ НАЧИНАЮТ...** Сквозь пучки проводов, штепселей уже поблескивает кость. Но внутреннего сияния ты не проиграла, душу ты не проиграла!

И тут, мазохистка, ты начинаешь отыгрываться. Тусклые мышцы впрыгивают в тебя, светясь от счастья, цепляясь как за подножку трамвая. Ты надеваешь контактные линзы. Ты счастливо озираешься. Темен загар твой и одновременно светел.

Но что это дышит, забытое на тумбочке? Подобно лягушке, мерцательно пульсирует и пробует скакать? — Ах, сердце...

Мы играли с тобою в Шахматове.
В пыль алмазную вверх тормашками
белой махою, черной махою
тень ложилась на луг ромашковый.
От шампанского мозг пошатывало.
У колонн, где вьюнки усаты,
мы с тобою играли в Шахматове,
где давно никакой усадьбы.

АХМАТОВА, ПРОИГРЫВАЯ, ВЫИГРЫВАЕТ

Когда я обдумываю ход офицера, в мозгу моем пахнет лесным клопом, белая королева пахнет черемухой.

а-5, Шопен не ищет выгод —

удлиняя клавиши, Шопен проигрывает этюд Чигорина.

Электричку потряхивало. Дорожные шахматы — это любовь лилипутов. Может быть, это — тир профессионалов, с дырочками точно по центру? Все ряды прошиты Калашниковым.

ШАМБАЛА НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ

Сетка полей минирована. У кого в кулаке пешка — тот ходит. А если в кулаке свинчатка?

На день рождения ты мне подарила фигуры, вырезанные в виде ангелов. Белые ангелы против черных. Ферзь светился. Видно, был покрашен по золотой подложке.

БОГОМАТЕРЬ НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ

Странные это были шахматы!

Темная сила любви была источником света. Встречные тени твоих фигур смешивались с моими. Все проблемы решались лежа.

Были ли у меня соперники?

Когда я вглядываюсь в доску, я чувствую встречные взгляды. Доска превращается в тумбочку-продажу солнечных очков. Пошла мода на прямоугольные! F-3 — H-3 — это очки Элтона Джона. Или Стинга? Ты — Мата Хари инстинкта.

Темен загар твой и одновременно светел. Говорят, ты вышла из полусвета.

Предупреждали тебя — осторожней шагай по полю. Тебя могут затянуть в черный люк. Не послушалась.

Ты провалилась в шахту подсознания.

Х...

ШАХТЫ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ

Подземная тайная сила.

Больше я тебя не видел.

Ах, наркотические черно-белые цветы, превращающие нас в нереальные цифровые комбинации! А вдруг они и есть реальность? А мы лишь физиологические иллюзии?

Между тем столетие в цейтноте. Заканчивается партия «Набоков — Марсель Дюшан». Твоя ушанка — без головы. Кто оспаривает первенство в матче между отцом Гаты Камского и мамой Гарри Каспарова? Не ты ли подсказала ало-

гичные решения победителю против машины? Ревную. Мне тесно в клетке разума. На свой выигрыш от проигрыша машина хочет Кл. Шиффер. Не от тебя ли свихнулся Бобби Фишер?

СУМАСШЕДШИЕ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ

Кегельбаном бы по фигурам! Лучше бить углом доски! Дважды мат XX веку.

Между тем паркетины вспучиваются, как безумный кроссворд землетрясения.

Я не знаю, чем опять беременна Россия, но абсурд — Богоматерь истины. Не абсурд зла, а абсурд добра.

И на самом краю доски вдруг зажегся огарочек Твоей свечи. Наверное, самовозгорание.

ТЫ ВСЕГДА НАЧИНАЕШЬ И ВЫИГРЫВАЕШЬ. Особенно когда проигрываешь.

Темен загар Твой и одновременно светел.

Я обучаю тебя черно-белой игре.

Посланница полусвета, полукривочка подсознания, свет Тебя начиняет. Этим Ты и выигрываешь.

Хроника из жизни ноликов и крестиков

Пролог

+ + +

Летели две палки. Одна — на Север, другая — на Запад.
На асфальте их тени совместились — получился крестик.

— Палки, не разлетайтесь, пожалуйста, а то я исчезну!

— Извини, крестик, нам пора.

+ + +

Микроскоп открыл мир из микробов. Дисплей открыл,
что мир состоит из крестиков.

+ + +

Шел крестик по дорожке.

Видит, толпа крестиков на ветке.

— Вы районное совещание крестиков?

— Нет, мы — сирень.

Загрустил крестик. Только развел руками. Пошел дальше.

+ + +

Идет, видит — черные крестики встали друг на друга, гимнастическую фигуру составляют.

— Физкульт-привет, миру — мир! Можно, я с вами встану на минутку?

— Пожалуйста! Мы — тюремная решетка. Присоединяйтесь.

— Извините, я тороплюсь.

Он только развел руками.

+ + +

Я чувствую, как кто-то передвигает меня. Иногда я даже ощущаю тепло движущей руки.

+ + +

Нолик проглотил Сатурн и все его не переварит.

+ + +

— Сколько стоит картошка?

— 7 руб.

— Когда к власти придет нолик, будет стоить 70.

— А если придет второй, будет стоить 700.

+ + +

Когда к власти придет крестик, он перечеркнет все достижения.

+ + +

Но мы забыли рассказать, что случилось с нашим крестиком за минувший год. Крестик развелся. От его брака с ноликом остались две дочки и сын. Вылитые родители. Особенно в профиль.

Старшая была зонтик. Она работала в уличном кафе зонтиком, а летом на пляже и после закрытия опускала юбочку. Младшая работала так же вазочкой для мороженого. В нее помещалась порция из четырех ноликов. В анкете дочки писали: «полукрестики-полунолики».

Сынок выходил на бульвар с заточенной спицей. Когда он протыкал спицей прохожих, те становились крестиками.

+ + +

Мимо проехал Большой крестик в «Волге». Неумещающий кончик торчал как антеннка над крышей.

+ + +

Когда «Волгу» отобрали, Большой стал ездить на троллейбусе. Кончик загибался над крышей, как дуга. Искрыло.

+ + +

Цены росли. К ним, как очередь, пристраивались нолики. Крестик все больше худел, нолик округлялся.

+ + +

Нолики катались на роликах. Крестик на одной ноге крутился по ледяному полю, расставив руки. Делал фуэте.

+ + +

Когда делили Черноморский флот, нолик предложил разделить якорь на крестик и полнолика. Разрубили. Корабли унесло к берегам Турции.

+ + +

О вечный бой двух начал! Структура мира состоит из крестиков и ноликов. Остальное — видимость. Есть и смешанные особи.

+ + +

Теннисная ракетка — это нолик, стянутый сеткой крестиков. Нет нолика без крестиков. Кролики — это крестики плюс нолики. Уши — от крестика, хвост — от нолика.

+ + +

Зарплату выдавали одними нулями. Лифтер получил 0 руб. 00 коп., инженер 00 руб. 00 коп., главный инженер 000 руб. 00 коп., председатель — во гребет! — 0000 руб. 00 коп. Далеко пресловутым абсурдистам до нашей действительности.

+ + +

Диоген жил в нолике.

+ + +

Когда крестик работал бурильщиком, он добурился до центра земного притяжения. Вытащил центр из земли, как

нерв из зуба. Система распалась. Земля распалась. Все разлетелось в стороны, децентрализовалось. По камням скакал опустевший обезумевший экватор. Потом центр вернули, но не совсем на то место. Крестика наградили, но перевели диктором на ТВ.

Страсть крестика

Когда крестик стал вести программу ТВ, он разделил собой экран на четыре части. Новинка! Он представлял одновременно четыре программы.

На левом его плече шли танки. На постаменте правого шли выборы мисс Таз-92. Под правой мышкой по 2-му каналу рвался к микрофону депутат, похожий на певца Мамонова из группы «Муки Му». Под левой мышкой митинговала партия сексменьшинств. Требовали передачи им Мавзолея.

+ + +

Вдруг правое плечо тяжело, как весы, поехало вниз. Танки взвились вверх, как по горной местности. Прищемленный депутат запел.

Как пушинку отгеснив плачущую мисс Экстаз-90, на постамент взошла Изольда Мешалкина.

+ + +

Восхищение! Хулахуп застрял на ней, как экватор. Неизъяснимая печаль пространств охватила души.

Страна опустела. Остановились заводы, операционные, ракетные, Полярный круг оттаял — все залезли в телевизор.

Нырни навек и не вынырни, москомсомольская мисс Бюст-92! Рейтинг Мешалкиной недостижим.

«МИСС ТАЗ МИР СПАСЕТ ОТ МЕТАСТАЗ» (ТАСС).

Правое плечо перекаливалось.

+ + +

Наутро крестик заболел. Все четыре градусника, воткнутые в него, пылали. Нижний лопнул.

Госпитализировали. Покрыли простыней. Раскаленные его кончики прокалывали простыню, как кладбищенская огорада в снегу.

Врач сказала: «Растяжение плеча». Профессор сказал: «Да он же влюблен!» «В Мешалкину, — сказала нянечка. — Все по ящику видели».

+ + +

«Не!» — сказала Мешалкина. Несмотря на ее влажный прононс, это не утешало.

+ + +

Крестик пробовал повеситься, но веревка соскальзывала с его безголовой шейки. «Не!»

+ + +

Он встретил Ее в лифте. Побледнел. Вырвал себя из себя и преподнес, как лилию. «Не!» — сказала Мешалкина.

+ + +

В другой раз он еще более побледнел. Вывернул себя и подал Ей, как квадратный платочек с четырьмя заглаженными складками. Мешалкина высморкалась в него.

+ + +

«Погляди на себя, они тощих не уважают», — сказал нолик и укатился.

Крестик купил гантели. Вступил в секцию «бодибилдеров». Накачивался в подвале. Через месяц он округлился, как туз треф.

«Не!» — сказала Мешалкина.

+ + +

«Им валюты надо», — посоветовал нолик.

Завербовался в космос. Работал стрелкой компаса. Но где в космосе Север? Где Юг? Его сократили.

+ + +

— Бабы — они военных уважают.

Крестик пошел в армию. Никак ему не удалось выполнить команду: «Смирно! Руки по швам!» Он все разводил руками. Обломали. Через 2 года Мешалкина ему ответила. «Не!»

+ + +

— Ты потанцевал бы...

Юные ленинцы плясали тяжелый рок, подняв два пальца, как перевернутое «Л». Крестик вошел в круг. Станцевал лезгинку. Потом вприсядку, выбрасывая в сторону руки.

«Не!» — сказала в нос Мешалкина.

+ + +

— Да ты послушай, как она, бедная, в нос произносит! Она всегда простужена. Ей профессионально поддувает. Подари ей колготки. Размер XXL (экстра-экстра ладж).

Ни одна отечественная фабрика не выпускала такого размера.

Вся страна стремилась улететь куда-то. Наверно, за колготками размера «S», «M», «L», «XL»...

Крестик улетел в Америку.

Крестик в Америке

+ + +

Крестик улетел в Америку.

В Аэрофлоте билетов не было на десять лет вперед. Виз тоже. Запись на угон самолетов шла за полгода.

+ + +

ТОГДА ОН ПЕРЕДАЛ СЕБЯ ПО ФАКСУ.

+ + +

...случалось ли вам, читатель, перемещаться по факсу, чувствуя, как некая серафическая сила разъяла вас на точки — а

вдруг не перегруппирует обратно?! — случилось ли вам нестись в иных измерениях, где «я» → «не я», нестись, холодея от ужаса, среди скорости мысли, запятых, обезумевших хромосом духа — не так ли и ты, Америка, как буйная, неудержимая факса, несешься, с гулом летят над тобой мос...

+ + +

— Ты?

Очнулся на 109-м этаже. Голубые продолговатые нолики в алой оправе уставились на него.

— Опять факс-заяц?!

Лакированный ноготь сощелкнул его с листа, как козявку, в окно. Падая, он слышал обрывок телефонной беседы:

«Хэлло! Оль слушает. Простите, я тут отвлеклась. ВСЕ ОК. Вот только наш 17-й нолик опять забеременел. Да, дистанционно. Наверное, от крестика из Гонконга.

+ + +

Под ним, мигая, приближались горящие перпендикуляры авеню и стритов.

О, Нью-Йорк, Нью-Йорк, мировая столица крестиков.

+ + +

Приземлился, как котенок, на четвереньки.

— Скажите, как пройти к Блюмингдэйлу?

— 6/42 → 5/44 → 4/64 → и вот вы уже на 3/64 → L/64!..

Не город, а кроссворд какой-то, мечта сумасшедшего шахматиста, партия Фишера. Ньюйоркцы, дети квадратов, мыслят ходом коня. Они и не знают, что уже играют в Рэндзю.

+ + +

По Центральному парку трусцой бежали тысячи крестиков — белые, черные, желтые, голубые, в безрукавках и шортах. Были среди них и нолики. Дети сверкали серебряными проволочками над зубами.

Крестик разделся и присоединился к цепочке. «Нюдисты

нынче в моде», — сказали, обгоняя его, голубые очечки. За ней на песке дорожки оставались крестообразные птичьи следы.

«Да она еще и птичка!» — подумал он.

+ + +

L/64! В витрине Блюмингдэйла пылала тыща швейцарских крестовых красных ножей. А мы-то думали, что у нас единственный!

Они шевелили лезвиями, лупами, антеннами. Из одного торчала черная швабра для прочистки трубки или унитаза. Он был похож на пурпурного вестминстерского гвардейца в мохнатой шапке.

Соседнее стекло сверкало бриллиантами. В каждом прятались, ломались лучевые крестики. «Освободи нас, — молили, — разбей витрину!»

+ + +

Но нигде не было колготок XXL.

Проходя супермаркетом первого этажа, проголодавшись, он схватил со стенда сосиску и съел. Никто не заметил. Но на выходе — ой! — неоплаченная сосиска завывала внутри него сигналом sireны.

+ + +

Воя желудком, он побегал по Лексингтон. Погоня! За ним, тоже воя, неслись ноли полицейских «мерседесов» и мотоциклов. Аллур 5 крестов!

+ + +

ВСЕМ СЛУЖБАМ! НЕОПОЗНАННЫЙ ИКС ПЕРЕДВИГАЕТСЯ ПО ЛЕКС.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ — ОБЪЕКТ ЧЕТЫРЕХПАЛЫЙ, ВЕРОЯТНО НЛО ЛИК.

+ + +

На углу 42-й он применил одесский прием. «Брызнули в стороны, бя! Свинт на крыше Рок-хазы!» — крикнул сво-

им палкам на непонятном преследователям языке и распался. Одна нога полетела на Север, другая — на Юг, враспынную!

Сосиска тем временем спустилась в нижнюю ногу. Воя, неслась на Запад.

+ + +

«Бля» — это «леди по-советски», — перевел в мегафон черный омоновец. За убегающими палками неслись, как тени, черные дубинки и нолики наручников.

+ + +

ИНТЕРПОЛ И МВД ВЗВОЛНОВАНЫ УЧАСТИВШИМИСЯ БЕЗВИЗОВЫМИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН ПО ФАКСУ.

+ + +

На крыше Рокфеллеровского центра встретились. Трое взлетели на лифтах. Ждали четвертую, которая с воем карабкалась по пожарке. Соединились. Свинтились. Оглянулся на все четыре стороны.

Над крышей в небе стоял желтый вертолет, винтообразно превращающий крестики в нолики.

+ + +

Но почему толпа с тротуаров и все кинокамеры глядят на крышу. И почему к крыше привязан трос, тянущийся к Эмпайр Билдинг? Видно, какой-то канатоходец собирается поставить рекорд Гиннеса?

+ + +

Наш крестик опередил рекордсмена. Апокалипсически воя внутри, он прошел, балансируя руками, над небоскрежной пропастью, прошел над затаившими дыхание квадратами Нью-Йорка коронным ходом офицера или королевы!

+ + +

ВИЖУ X ИДУ НА X

+ + +

Ура! Наш герой уже на Эмпайр Билдинг. Аплодисменты!
Крестик протянул всем руки.

Тут на него надели наручники.

+ + +

Ножницы — это крестик с кольцами наручников.

+ + +

Крестика посадили на электрический стул. К правой руке подсоединили плюсовую клемму, к левой подвели отрицательную.

Когда к его «плюсу» подключили «минус», он весь наполнился радостной энергией. По жилам побежал ток. «Еще! Ну, еще подбавьте току», — молил он электриков. Когда подвели «плюс», крестик ничего не чувствовал.

+ + +

Пинок! Его выбросили на улицу.

+ + +

Жильем не обеспечили. Советский бомж привык и не к такому. Он складывал себя в тире, как складной зонтик, и спал на лавочке. Под лавочкой, свернувшись калачиком, спал нолик.

+ + +

Над собой в небе он считал звездочки. «Сегодня я в четырехзвездочном отеле ночью», — подумал и сладко заснул.

+ + +

Ему снились клеверные поля, где крестики, перелетая с цветка на цветок, погружают хоботок до предела и торчат вверх вибрирующими антеннками.

+ + +

Крестик первым открыл Америку. Он сидел на мачте.

+ + +

Говорят, что крестик сбросил бомбу на Хиросиму.

+ + +

Ему снился родной безразмерный окоем, неизъяснимая печаль пространств.

+ + +

Подошли две белые бестийки:

— Крестик, вынь из себя один из шприцев. Зачем тебе четыре? Поделись с товарищем.

Не трожьте человека, когда из его вены торчит кончик крестика.

+ + +

Иногда он залезал с ногами в дорожный пустой круг знака «стоянка запрещена», и знак превращался в «остановка запрещена». Глядя на спящий крестик в кружочке, машины, опустив ресницы, катили мимо.

В осеннем воздухе, как паутинки, носились узелки памяти. Кто завязал их? О чем они?

+ + +

Порой сквозь чужое окно он видел экран ТВ.

+ + +

Шварцкопф с Саддамом играли по клеточкам в «кораблики».

В это время их охранники, засучив рукава, мерялись силой, уперев сдвинутые локти на полированном столе. Они отражались в столе загорелыми крестовинами.

+ + +

Он много глядел в небо. Из факса облака строились сообщения дождей. Из факса газонов в небо поднимались сообщения паров.

+ + +

Самолет сначала был крестиком. Постепенно превратился в минус ракеты.

+ + +

Однажды приснилась мама. Он плохо помнил ее. Тогда ему было года четыре. Она спала. Он нарисовал на ее левой

половинке попки крестик, начал рисовать и на правой. Но едва начертил (—), как произошло короткое замыкание. Больше он никогда ее не видел.

+ + +

Мимо катили нолики, первые миллионеры из совков. Они гребли зелень совковой лопатой. Эмблемами их «мерседесам» служили крестики с отпиленной ногой.

+ + +

Наступили холода. Из факса облаков полетели на землю сообщения белых крестиков.

+ + +

«Метель лепила на стекле кружки и стрелы».

+ + +

Он заметил, что американцы замыкают квартиры на наборные ключи и их скважины имеют крестообразные сечения.

Так он стал проникать в пустые квартиры.

+ + +

В одной спальне на тумбочке лежали голубые очки в алой оправе. На стуле джинсы «Леви-Стросс». В углу шелестел ФАКС. «Макинтош». Под дверь ванной вели просыхающие птичьи следы.

Так вот как ты живешь!

+ + +

Он ждал. Буквы и цифры из ФАКСа рассаживались на майках. Куда бы факснуться, пока хозяйка моется? Стопкой лежали телефонные книги.

+ + +

Он открыл наугад телефонный справочник «Петроград». Видно, новый. Значит, город только что переименовали. Какие перемены без него. Вот телефон какого-то Юсупова Ф. Набрал.

+ + +

Очнулся в бороде Распутина. Старец почесался. Поймал. Прижал ногтем. «Ща мы тебя!»

Раздался выстрел. Потом еще. Пальцы разжались.

+ + +

В панике он крутанул ручку телефона. В кабинете сидел вождь и курил труп.

+ + +

Черные сапоги были скрещены под черным углом усов.

Закурив новый труп, он стряхнул крестика в пепел: «Фактически тебя нет».

Фактически нет, но фактически...

+ + +

— Кто это растягивал мои колготки?! Как вы смели!

Оль выпорхнула из ванной. — Ах, это опять вы, факс-заяц! Я так и думала. Не глядите на мои ноги! Вы думаете, если я без халата, то так уж беззащитна. Подайте мне газовый баллончик. Считайте, что я за ширмой.

Она вытянула перед собой горизонтально на уровне плеч поясок от халата. И выглядывала из-за него, как из-за ширмы. Ничего, я плохо вижу. Что уставились? Подотрите пол вокруг меня. Ой! Ну, нельзя же так, сразу. Ее нолик округлился от удивления. Ой! ± —,о!! — +хо++ ой о милый о... ой да у тебя их четыре... Я тебя по всем факсам ищу. Все оказывались не ты. Пошли в ванную.

+ + +

— А что это у тебя за кружок над левым локтем?

— В нашей стране врачи всех детей метят минусом. Потом этот минус воспаляется в нолик. Это на всю жизнь.

+ + +

А ты и правда из крестиков. Пока мы любили друг друга, сотни крохотных крестиков высунулись из твоей щеки и под-

бородка. Ровные, как новобранцы. Целые полчища. Все колются.

— Ща мы их под ноль сбреем!

+ + +

На стене фото нолика. Муж? Нет, это моя мама. Мы все из нее вылупились. Ах ты, моя птичка.

+ + +

В коридоре висела шведская стенка из ее прошлых любовников. Ах, какие это были крестики когда-то!

+ + +

Я читала, что русские между любовью говорят про ГЭС. Расскажи мне про ГЭС...

+ + +

СТАЛИНТУРИСТАСОВПИСДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

+ + +

Когда он утром чистил зубы ее щеткой, зубастая перекладина его белела из зеркала, как шлапбаум.

+ + +

Он остался жить у нее. Помогал по хозяйству. Служил ей четырехлопастным ножом в мясорубке. Когда ее не было, путешествовал по факсу. Макинтош был ему по размеру.

+ + +

В кухне на сушке вертикально сохли нолики. «Не хотим в кофемолку!» — кричали черные нолики. Крестики сочувствовали, но перемалывали их. Белые нолики не хотели работать рисовой кашей.

+ + +

Ему нравилось в этой стране.

У стены стояла круглая ванная. «Джакузи» называется — последняя американская мечта! Едва он лег в эту ванную, как из бортов забили струи. Крестик завертелся. Голова закружилась. Он превратился в нолика. Джакузи превратилась в Мешалкину.

Просыхая на бельевой веревке, он услышал Олин голос: «Джакузи ваш русский нолик изобрел. «Мы вам покажем джакузькину мать!» — кричал ваш нолик в шляпе».

+ + +

Однажды из факса выскочил чужой крестик. Ах, да это мальтиец! Выставил шпагу из нашего. Но, проколотый насквозь, нырнул в вечность факса.

+ + +

Ах, факс — Стикс XX века...

+ + +

Как-то он попал за кулисы к Мадонне. Суперзвезда молилась перед выходом на сцену. На черные кожаные брюки в обтяжку был надет бабушкин розовый пояс с четырьмя подвязками. Тупые полицейские пытались запретить ей мастурбировать на сцене. Народ скандировал: «По-дон-ки!», «Да здравствует Мадонна — Макдоналдс культуры!»

+ + +

Оль выкрасила его верхний хохолок зеленкой. Так он стал панком. Бритоголовые нолики били его.

+ + +

Порой они путешествовали вместе.

— Давай наберем Кремль, пообедаем?

— Знаешь, советские компьютеры крепко пьющие. Впустить-то впустят. А вот выпустить... Тогда слетаем к Факсимиле.

+ + +

Ездили к морю. Когда крестик катался на одной водной лыже, Оль плыла к нему, как спасательный круг.

+ + +

Но иногда она казалась ему похоронным венком. Он выходил на балкон, прислонялся к перилам и глядел, взгляд его огибал землю, как дуга у старинного глобуса. Его тянула печаль пространств. Антеннка вибрировала.

Все его мысли были о доме: «Вдруг расстреляют?»

+ + +

— Милый, в прошлом году я была в Москве. Меня возили в автобусе в Троицкий монастырь.

— В Троицкий посад?

— Да, да, в Троицкий фасад. Тогда у вас был зимний праздник. Русские красят нолики в разные цвета. Красные, золотые, голубые! Я влюбилась в алые нолики на снегу.

+ + +

А почему вы всех своих лидеров ругаете? «Stalinobad, Leninobad». И этот плох, и тот «bad».

+ + +

ОБЪЕКТ ТРИЖДЫ ЖЕНАТ ПЯТЬ РАЗ РАЗВЕДЕН ЖИВЕТ НЕПРОПИСАН ПО ФАКСУ (212) 461208 СООБЩАЕТ НОЛИК.

+ + +

В этом году Америка страдает от эпидемии клещей. Клещ по-английски «тик». А может, это нашествие клещтиков?

+ + +

А ты, совок — ОК!..

+ + +

— НОЛИК ПРОНИК В НЬЮ-ЙОРК РАЗРУШИТЬ КРЕСТООБРАЗНУЮ СИСТЕМУ УЛИЦ И ЗАМЕНИТЬ ЕЕ НА КОЛЬЦЕООБРАЗНУЮ —

+ + +

Когда он брился в ванной, из зеркала параллельно ему появился другой крестик, словно переплет второй зимней рамы двойного окна. В Нью-Йорке нет двойных рам, нет переплетов. Он вспомнил вторые зимние рамы своей родины. И заплакал.

Когда намазился кремом, второе окно покрылось белым, морозным узором. Он еще горше заплакал. Антенка, куда ты завела?

+ + +

Ах, Россия, пройдешься по улице — изо всех окон на тебя выглядывают крестики. Америка к прохожему равнодушна — ни один крестик не выглянет из беспереpletных окон...

+ + +

± —o!! — + хо + |

+ + +

Кольца на оконных палках разинули рты от изумления, выпустили из зубов шторы. Шторы упали. Наступил день.

+ + +

Но однажды она забыла закрыть в ванной пробку. И его унесло с водой. Крестик и нолик, дежурившие в отверстии, зазевались и упустили гостя.

+ + +

Какая темень! Как мерзко и холодно нестись в потоке мыла, твоих запоздалых слез, обескураженных хромосом, холерных палочек! Прощай, милая, абсолютный салют!

+ + +

Как-то в преисподней он встретил одинокую воющую со-сиску.

+ + +

ОБЪЕКТ ПРОНИК В ПОДЗЕМНЫЕ КОММУНИКАЦИИ. ПЛЫВУ ПО СЛЕДУ — НОЛИК.

+ + +

Безнадежно носясь по inferнальным кишкам великого города, на стенке одной из труб он заметил проржавевшее пятно. Проколов ржавчину, он нырнул туда, попал в слой сырой штукатурки, процарапал дырку в том, что оказалось по-толком, и весь белый, как призрак, от прилипших белил свалился в какой-то огромный подвал.

+ + +

Судя по сломанному мольберту, это была мастерская художника. Видно, тот разбогател и съехал. В углу валялся мо-

ток советской черной изоляционной ленты. Видно, художник был русский.

Сначала крестик заклеил лентой дырку за собой, чтобы подвал не затопило.

+ + +

Советская мазутная лента не чета безликому скотчу. Если у вас протерлись выходные вечерние брюки — заклейте черной изолентой.

Если в город приезжает Предсовмина, а проспект не заасфальтирован, протяните ленту вместо шоссе. Получите орден.

Если у вас свадьба и нет селедки, нарежьте ленту тонкими ломтиками и наклейте по центру на селедочницу. Вокруг декорируйте кружками моркови и лука по вкусу.

+ + +

Дверь подвала была закрыта снаружи. Окон не было. ФАКСА не было. Оставалось ждать.

+ + +

В эти недели ожидания он и создал свои ставшие потом знаменитыми картины из изоленты. Он лепил ленту на белые известковые стены. Получались автопортреты, скрещение судеб, тени XX века.

Как-то, еще живя в России, он видел эмблему рубрики «XX век в лицах» в газете «Известь». Художник нарисовал цепь времен, ее разорванные звенья, в них крестик становился ноликом. Это смысл бытия.

В подвале на стенах он продолжал рисовать автопортреты, ибо он и был связующим элементом мира. Другого мира пока никто не создал.

Исследователи найдут много толкований Изоленте, но никто не знал, что в его изображениях присутствовала тоска по Изольде и прощание с ней.

Вскоре Изолента кончилась.

+ + +

Он почти ослеп и побледнел от темноты.

Вдруг дверь распахнулась. Ввалилась толпа репортеров, поклонников и сам художник, владелец подвала: «Вот в этой дыре я начинал!»

Тут все заметили картины на стенах.

«Шедевры! Почему вы от нас их скрывали, маэстро?»

Художник потупился, но не отрицал. Шквал восторга!

Крестика никто не заметил. Он улизнул в открытую дверь. Воля дороже славы и авторства.

+ + +

К ней он не вернулся. Пошла ты крест-накрест! Абсолютный салют.

+ + +

**ОБЪЕКТ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ К СОХО ЦЕЛЬ НЕ ЯСНА —
НОЛИК.**

+ + +

Слоняясь бездомный, как-то на уличной афише он узнал свой изопортрет. Зашел на выставку в Сохо.

Растолкал локтями толпу ноликов и пробился к картинам. Он был так грязен и плохо одет, что его принимали за миллионера. Как из зеркала, со стен на него глянули его отражения.

«Я знаю автора!» — блеснув в толпе, голубые нолики округлились от возмущения и восторга. Ах, ты тоже наткнулась на афишу и прикатила. «Я знаю — это Крестик рисовал. Вот его отпечаток на стене»... «Ой!» — сказала Оль. Оказывается, крестик нечаянно уколол ее. «Да вот он и сам. Явился. Запылился. Сравните!»

Эксперты сравнили.

— Да, это он!

Такое началось! Все кинулись к картинам.

Крестик протянул ей руку. В суматохе они выбежали на улицу.

+ + +

Он обнял ее за округлые плечи. Вон они идут по солнечной стороне Грин-стрит!..

Слившиеся крестик и нолик — собственно, ничего больше и не существует на свете.

Хеппи-энд?

+ + +

«Не!» — прогремел с небес до боли знакомый глас. Х...энд.

Все потемнело. Заслонив тазом солнце, с парашютом на них с небес

спускалась

Изольда Мешалкина.

Она была одета в тельняшку десантницы. Юбка-варенка, греза Рижского рынка, служила ей куполом. Колготок она, видно, так и не достала. Из нее угрожающе сыпались листовки, которые относило в прерии и пампасы. Как бы она ни укололась о шпиль Эмпайр Билдинг!

+ + +

— Не! — Изольда бросилась на Оль.

Та увернулась. Эмпайр покосился от промахнувшегося удара. Возник пожар в лифтах. Новый разбег. Оль подсекла ее подножкой. Пробила до метрополитена — и снова в бой!

Изольда протянула к Оль свои справедливые руки. Двойной Нельсон. Оль применила «Леди Гамильтон». Но поздно!!! Вот она уже не дышит в мощных славянских объятиях.

— Не...

...ненаглядная! — Изольда вlepила в ее испуганный нолик засосный поцелуй.

— Я люблю тебя. Давай дружить странами. Сыр. Дружба! Уимен либ. Махнемся колготками. Окажи мне гуманитарную помощь!

Полосы тельняшки покраснели от радости как полосы американского флага.

— «Долой стереотип врага!», «Да здравствует стереотип друга!», «Счастье — вне колготок», «Сыр Дружба» — это кружатся счастливые листовки.

Шурша по опавшим листочкам, две женщины уходят, взявшись за руки.

ОЛЬ + ИЗОЛЬДА = НАВЕКИ

Оль и Изольда уходят за горизонт. Их уже не видно. А крестик? О нем забыли?!

+ + +

Крестик опять остался один.

Доклад

Крестики везде! Мы нолики, должны быть бдительны. Учитесь распознавать.

Почему «Аргументы и факты» рассылаются неразрезанными?

Разверните, и вы увидите большой крестик, образованный из сгибов. Ежедневно тридцать миллионов крестиков проникают в наши квартиры.

Лучшая организация ноликов — танковая гусеница или БТР. Но не дай бог, если за рулем окажется крестик.

Врага можно распознать по тому, как он шнурует кроссовки. В шнуровке таятся крестики, по четыре на каждой ноге. А что означает само слово «кроссовки»? «Кросс» — в переводе означает «крестик». Все вместе значит: «крестики — совки». Это оскорбляет Строй.

А футбольный матч? Вы видели, как крестики избивают ногами нолика?! (Если поймают.)

По телевизору при свете прожекторов под каждым из так называемых игроков видны темные крестообразные лучи. Вы думаете, это играют люди? Это крестики играют между собой.

Мне, например, вчера крестик шину проколол.

Помню Буденного. Два воина держали его за концы усов. Маршал перекувыркивался через усы, как через перекладину. Вот это был крестик! Но когда крутился, становился ноликом.

+ + +

Мы помним, как тюремная решетка создавалась из крестиков. Мы считали, что она распадется опять на крестики. Ан, нет! Она так срослась, что распалась кое-где на квадратики.

Квадратики низколобы, замкнуты, хорошо упакованы. С ними не поиграешь в Рэндзю. Они повторяют квадраты холодильников и телеэкранов.

Я в детстве ловил крестиков и отрывал им крылышки и ноги.

Ловите крестиков и ноликов и распрямляйте их в прямую линию.

Душа имеет форму нолика. Поймайте человека. Утопите. На гладкой поверхности воды появится нолик.

Полтергейстики

+ + +

Факс на Москву был перегружен. Грузили электронику, чемоданы с колготками, «Тойоты». Крестик прикинулся металлическими уголками на чемодане. Когда в Шереметьеве соскочил с чемодана, чемодан развалился.

+ + +

Пока он отсутствовал, все захватили нолики. На перекрестках полки лежали нолики, нолики были в карманах и голо-

вах сограждан, шланги на бензоколонках были завязаны в форме ноликов.

+ + +

Крестик основал партию поперечников. Он всегда имел перпендикулярное мнение.

Когда участники митинга прижимались к металлическим ограждениям, поставленным милицией на уровне пояса, они становились крестиками.

Нолики кокард.

+ + +

Крестик пил чай с сушками. Связка сушек на бечевке — прогулка заключенных ноликов.

+ + +

Нолики и крестики постоянно пакостят друг другу, устраивают розыгрыши.

+ + +

На углу ул. Горького стояла «Чайка» с нулями. Крестик решил, что это туалет. Зашел. Когда вышел, его арестовали. С тех пор он не доверяет ноликам.

+ + +

Крестик сидел на стуле. Вошел начальник. Из ноликов, конечно. Сел на стул. Уколотся. «Как бы СПИД не подхватить!» Крестика выгнали.

+ + +

Ну, как ударишь нолика? Кулак проваливается.

+ + +

Решетку расформировали. Демобилизованные только разводили руками.

+ + +

Сколько минусовой энергии в нашем доме! Когда крестик поселился за стенкой, предметы пошли двигаться. Такой полтергейстик начался! (—) — это полкрестика. Вот плюс и минус и образовали полуторакрестик...

+ + +

Крестики и нолики, подписывайтесь на журнал «Ю»!

«Ю» — это полукрестик + нолик.

+ + +

— Но ведь антеннка не только принимает передачи, но и может посылать твои звуки в эфир. Спой, крестик, не стыдись!

Так он стал певцом. Нолик записывал его. Тексты песен крестика мы опубликуем в след. выпуске.

+ + +

Нолики решили осудить крестика, пришить ему дело об оскорблении собой Креста. Пришли к Старцу. Старец глядел в телевизоре мировой чемпионат по Рэндзю — древней игре в крестики-нолики. Он пристыдил доносчиков: «Разве шахматы унижают сан Королевы или честь офицера? Разве вы сами не пользуетесь знаком крестика, когда приплюсовываете барыши? Не кошунствуйте, малограмотные! Разве четырехлучевой крестик на лесном паучке похож на православный Крест с перекладиной о шести завершениях? Вы большевистски и компьютеры хотите запретить? Будьте патриотами. Чем доносы писать — тренируйтесь! Организуйте Национальную сборную по Рэндзю, древней игре умных и благородных. А то японцы нас и тут обошли».

Нолики укатились.

+ + +

— Играть в эту Рэндзю? В размазню? Вот в резню — с удовольствием.

— Зюзю поигрывает в Рэндзю.

+ + +

Невидимые игроки Рэндзю двигали фишки. Мы, фишки, понимаем удачные или ошибочные ходы, но смысл игры нам неясен.

Но все вокруг обретает смысл — и таежные просеки, пересекающие трассы, и кольца рвов вокруг древних замков, и

вошедшие в нашу жизнь круги стадионов, и Южный крест, занесенный от нас за горизонт невидимой рукой, — все имеет тайное движение и неясный смысл.

+ + †

Рэнзю, или Рэндзю (японск.) — означает также нанизывание жемчуга, цепь ассоциаций, особый жанр средневековой японской поэзии и обозначается крестообразным иероглифом.

+ + +

Крестик победил Наполеона. Тот скрестил руки на груди. Наполеона давно уже нет, а крестик остался.

+ + +

Крестики и нолики в бескозырках и со скрещенными пулеметными лентами взорвали храм и построили бассейн.

+ + +

Нолик сидел в кресторане. Крестик нес ему над головой бутылку шампанского на подносе.

+ + +

Баба сидела на чайнике. Чайник рифмовал. Он писал в стол. Она подтирала.

+ + +

Нолик пришел на стадион.

— Вы в ложу прессы?

— Нет, у меня постоянный пропуск на табло.

Счет оставался ничейным, пока он не спустился в буфет.

+ + +

Белая «Чайка» мылась в ванной. Золотые зубы сняла и положила на умывальник. Крестик тогда дежурил решеткой в сливном отверстии. Его заткнули пробкой.

+ + +

Не ставьте цилиндр вверх дном! Согласно квантовой магии, находящемуся в нем человеку придется стоять вверх ногами.

+ + +

Пушкин стоял за Макдоналдсом. Чтобы скоротать вечность, он читал Хераскова. «Merde, — думал он, — какое г.!»

Шла приватизация. По нитратопестицидным полям шел крестик за лошадью. Лошадка роняла ароматные нолики с золотыми чешуйками овса.

«Говно, — в слезах от счастья изумился крестик, — какое говно!»

+ + +

«Ишь, зеленый, как доллар», — подумал на Пушкина деревянный нолик и покатился дальше.

+ + +

Пришла эпоха рыночных отношений. Крестик пошел работать весами на Черемушкинском рынке.

Они с ноликом основали СП. Вступили в клуб миллионеров. Собирались в отеле «Маджестик». Воду в отеле пускали на полчаса в сутки. Поэтому ванную наливали шампанским. Миллионы пузырчатых ноликов щекотали кожу, голубели на татуировках. Закусывали яичным мылом. Мокрые полотенца досуха высасывали гости Клуба.

Во время игры в гольф нолику приходилось трудно — в него закатывали мяч, считая за лунку.

Ели на джинсовой скатерти. Гофрированные нолики венчали бутылки с «Жигулевским». Печень трески на блюде имела дистанционное управление. У скатерти урчало в джинсовом животе.

Обсуждали кандидатуры. Нолик попал в десятку. Крестик вошел в сотню.

+ + +

Он вошел в Сотню. В купюре было просторно. Огляделся. Вошел в коричневый деревянный Кремль, прошел по деревянному настилу набережной.

Дерево отсырело. Все кишело белыми водяными знаками. Чтобы не подожгли, наверное. Текла деревянная вода. По ней, как луна, плыл водяной профиль.

Крестик прыгнул с моста. Поплыл брассом. Когда перешел на кроль, наблюдающий нолик решил, что он изображает фашистский знак.

Мокрого, его привели во дворец. В дубовом кабинете за столом восседало пресс-папье. Да это же его младшенькая дочка. Помните, что работала вазочкой в кафе? Полнолика-полкрестика. Теперь она перевернулась ножкой вверх. Стала полнотела, полнолика. Промокала в офисе важные бумаги. Здравствуй!

Не глядя, она промокнула крестика.

Он впрессовался в купюру, стал частью системы, прослужил в ней, проходил по людям, посмотрелся всякого, пока купюры не обменяли.

+ + +

— Здравствуйте, мы — пружинка.

— Вы сестры?

— Нет, мы жены.

— У нас один диаметр, одна судьба. Он любил нас, переходил с одной на другую. Потом раскрутился, оторвался и улетел в Америку.

Мы могли бы работать в баре винтовой лестницей.

+ + +

Крестика поймали, как муху, в кулак. Он вылез кончиком в щель между средним и указательным. «Кукиш!» — закричали. А он просто свободы хотел.

+ + +

Чтобы хоть как-то окрасить их жизнь, он пытался хотя бы рассмешить их. Он перекувыркивался: «Разберите, где у меня верх, где низ? А где у нолика?» Шутки были дурацкие, но у кого-то в уголках глаз щурились крестики смешинок.

+ + +

На углу ул. Димитрова стоял каменный полкрестик, в вытянутом перед собой кулаке он сжимал за горлышко невидимую бутылку. Хотел открыть без штопора, ударом дна.

+ + +

Крестик предложит разделить Союз писателей под прямым углом на четыре части: Союз-1, Союз-2, Пен и Союз-5, который еще не сгорел на орбите.

«С одной стороны, Красный Крест и Полумесяц утрачивают изолированные отношения, включаясь в некоторую стереотипную синтагму, с другой стороны, рождается парадигма...

(Ролан Барт «Воображение знака», с. 249.)

Барта он купил случайно. На обложке в овале была фотография пародиста А.Иванова, который при рассмотрении оказался Бартом. Бартячейки распространились по всей стране.

У одного в наушниках звучало: «надежды маленький, о крестик...»

+ + +

Она прыгала ласточкой со средней площадки вышки. Он с верхней площадки — солдатиком. С пляжа казалось, что траектории их на мгновение крестообразно пересекались.

+ + +

Крестик встретил молодую березку. Обнял ее и свел пальцы за ее спиной, окаменев от восторга. Получился крестолик. Перстенок с продольным камнем. О жизни крестоликом мы расскажем в следующем выпуске.

+ + +

За круглым крестоликом — «нолик сверху и четыре ножки снизу» — приятно посидеть в кафе.

Родословная крестиков

+ + +

Человек произошел от обезьяны. От кого произошли крестики? Из человека. Если покойника посадить в землю (и поливать), вырастает крестик.

Но многие считают, что они внеземного происхождения.

+ + +

Если все крестики возьмутся за руки и встанут в цепочку, то шеренга их протянется не только от Вильнюса до Таллина, но даже от Углича до Чикаго.

+ + +

Если мы прочитаем родословную крестика от сегодняшнего дня назад, налево, то мы обнаружим там поэта Китса и остатки какого-то фейерверка. Видно, его прадедушка Фейерсгорел, от него осталось «ерк». Другие считают, что это имя «рек». А фундаменталисты прочитали не «Китс», а «скит» и прорабатывают версию, что предком был поэт «К.Р.», великий князь.

+ + +

Когда на крестиков были гонения, крестик купил тросточку. И прикинулся пятиконечной звездочкой.

Тетя крестика была балерина.

Она стояла на одной ноге на углу ул. Горького на крыше над магазином «Армения» и, подняв под прямым углом другую, делала фуэте. Потом, наверно, устала, вышла замуж и уехала в Эривань.

— Извините, я тороплюсь.

Он только развел руками.

Мы потом расскажем, куда он спешит.

+ + +

Нолик хохотал до колик.

+ + +

Крестики чистят пестики.

+ + +

Пара ноликов — параноиков.

+ + +

Толик сказал на фейерверк «Крестики писают».

+ + +

Когда Сталин давал клятву Ленину, слова на его усах замерзали как белые крестики.

+ + +

Дед крестика был драгун. Казак разрубил его наискосок, пополам, на два прямых угла. Крестик сколотил из них раму для портрета.

+ + +

Крестика-собачку можно отличать по одному кончику, загнутому колечком вверх.

+ + +

На все четыре стороны разрывает сердце центробежная сила любви. Прежняя тянет, семья тянет, Кристина тянет, а пуще всех — Неизвестная.

Закон тянет, рэкет тянет, ОБХСС тянет, знакомые тянут — себя не хватает.

+ + +

Мы валялись, утопая в дюнном песке.

— Ой, что-то трет спину.

— Посмотри, это меридиан и параллель...

+ + +

Когда женщина дает ему советы, он затыкает себя с четырех сторон.

+ + +

Три крестика сверху и один снизу. Мельницы и Дон Кихот. Дон Кихот победил мельницу. Построил АЭС. Крестиков прибавилось.

+ + +

Повстречался крестикам шарик. Он съел их. Он съел их так много, что они кололись, высовываясь из пуза. Звали его крыжовник.

— Вы муж или жена?

— Нет, я само воссоединение, я знак «плюс». Например, Джон + Дарья, Владлен + Пегги...

— Им — да, а вам — не положено.

Заплакал крестик. «Зачем же я полгода отмечался?»

Только развел руками.

+ + +

Крестик вместе с Лениным нес бревно на субботнике. Потом к их шеренге приплюсовалось так много крестиков, что на карточке не умещалось. Потом все разбежались.

+ + +

Взяли крестика в армию. Строевым шагом у него отлично получалось. «Строевым, кругом — арш!» Взяли крестика в кремлевские курсанты.

+ + +

Крестик испугался СПИДа. Пошел в аптеку. Купил.

— А на какой кончик надевать?

— А вы читали басню «Мартышка и очки»? Примеряйте экспериментальным путем.

+ + +

Когда крестики выбирали министра водного хозяйства, он стоял на трибуне и показывал, растопырив руки: «Во какую рыбу ловить будем!»

+ + +

Пришла к крестик в гости женщина.

— Крестик, можно я на тебя кофточку повешу, только ты не двигайся, а то кофточку сомнешь.

Разделась. Легла. Подождала. Уснула.

Крестик до утра простоял, боялся пошевелиться.

+ + +

Когда крестики объявили забастовку, все тетради «в клеточку» стали — «в линейчку».

Мало того. Все ткани распались, и все люди на улице оказались голыми. Только на одной женщине осталась красная кожаная юбка. О чем она очень жалела.

+ + +

Один крестик может одновременно:
пожать руки сразу четырем избирателям,

или

снять четыре телефонные трубки,

или

снять две трубки и пожать руки двоим,

или

на приеме взять виски, шампанское, бутерброд с колбасой и сосиску,

или

указать народу одновременно четыре направления пути вперед.

Как-то ехал крестик по ул. Горького на белой «Волге». Поднял глаза на тетю. Увидел — смутился.

Крестик покраснел.

Так произошла «Скорая помощь».

+ + +

Крестики очень любили картину «Бурлаки на Волге». Они так долго изображали ее, что получилась колючая проволока.

+ + +

Напился крестик, пришел домой на руках.

— Ты что, знак умножения?!

+ + +

Враги у крестика — нолики. Это ему бабушка говорила.

Не послушался крестик. Женился на нолике.

Получился оптический прицел.

+ + +

Когда жена бросила крестика и уехала в Сочи, он глядел
вслед из оконной рамы и плакал.

+ + +

Крестики не умели ни читать, ни писать, но они любили
подписывать приказы. Известны три романа и семь мемуа-
ров, подписанных крестиками.

+ + +

Когда нолики окружили крестиков, двое оставшихся
встали спинами друг к другу с автоматами наперевес.

+ + +

Интеллигентные крестики рождаются из ротиков. Дамы
крестят ротик, когда зевают. Одна женщина в день может
произвести до трехсот мелких крестиков.

+ + +

— Вы крестик справа налево или слева направо?
Польский или русский? Если да, то мы вас расстреляем.

+ + +

Белые крестики забили гол. Обрадовались, прыгнули друг
на друга — «куча мала», обнимаются, руками машут.

От радости к небу полетели.

Снежинка.

+ + +

Есть летучие крестики, у них шесть конечностей. За счет
двух крыльев.

Фундаменталисты создали крест-эталон.

Если крестик чуть короче эталона, это — масон.

+ + +

Приехал Кестлер в Россию. На таможне его не изъяли.

— Я хотел бы в Суздаль.

— Пожалуйста. Наверное, политический изолятор по-
смотреть?

— Нет, я переводил стихи «В России живу меж снегов и святых».

Розовый такой. Жена молодая.

И «Первый лед» перевел. Миллионы кристаллических крестиков замерзли на окнах телефонной будки.

— Да не Кестлер! Это приезжал Роберт Конквист. Мы с ним знакомы по Вашингтону. И «Первый лед» переводил. И «Большой террор» написал. А все остальное правильно.

+ + +

Когда нолики победили крестиков, они положили пленных парами, в затылок друг к другу, в два ряда. Получилась железная дорога. По ней ездили нолики.

Потом крестики победили ноликов. Они гуляли по платформе, ездили на ноликах, выглядывая из окон вагонов. Железную дорогу они оставили себе.

Приснись, ресничка

(сценарий)

+ + +

Летел крестик по небу. Навстречу — ресничка.

— Давай жить вместе.

— Только чур ножкой не дрыгать. И не подмаргивать всем встречным.

+ + +

Смотрите! Летит по небу пятипалый крестик сирени.

+ + +

Как летали они! Она часто вздрагивала, влажнела — но это были слезы счастья.

Два раза во сне они слышали мелодию из «Крестного отца».

+ + +

Она рассказывала ему свою жизнь. Как после школы пошла в письмоноски. Как сорвалась, как падала, как, ее мелко-мелко перекрестив, кидали кому-то за пазуху.

«К письму! К письму!» — и на зов ее летели крест-накрест клеенные синие конверты.

Он ревновал, но еще крепче срастался с ней.

+ + +

Однажды он проснулся — нет реснички. Может, она в ванной?

Сливает избыточные слезы? Подождал — нет нигде. Слева болела ранка разрыва.

+ + +

Журавли, вы не видели моей реснички? Кот на крыше, ты не видел реснички? Веник, ты не видел моей реснички?

Издали доносилось из «Крестного отца».

Пошел крестик по стране.

+ + +

Он шел по городкам, которые кишели крестиками, как вязаные носки или муравейники, он шел по штопаным деревушкам, по полям, вышитым васильковыми крестиками, по нарядным толпам тротуаров, как шарфы «Ади-дас».

Он шел и только разводил руками.

«Выневиделимоейреснички?»

Но никто не знал о ресничке.

+ + +

Крестик пришел к Эрнсту Неизвестному. Скульптор разорвал ему грудь пополам, всунул нолик, а ноги закрутил плоскогубцами. И повесил его на стену в Ватикане.

— Ваши святейшества, я извиняюсь, но Вы не видели моей реснички?

+ + +

Крестик влетел в окно гостиной. Он запел, он взял самую высокую ноту. Он пел о ресничке. Люди бросились к нему, захлопали в ладоши. Хлоп! Хлоп! «Малярный!»

«Аплодисменты опасны», — решил он. Полетел дальше.

+ + +

Крестик, как лунатик, залез на крышу. Там много крестиков стоит. Идет, руками балансирует. Навстречу влюбленный голубой кот.

— Крестик, я на тебе погадаю. Любит — не любит, плюнет — поцелует.

Оторвал руки-ноги. Осталась от крестика одна точка.

— Ничего, опять отрастешь. Зато ты помог другу.

+ + +

Пришел крестик к Ростроповичу.

— Маэстро, скажите, пожалуйста, почему я всю жизнь по пузу смычком вожу, а музыки не получается?

— А Вы пробовали натирать себя канифолью?

— Извиняюсь, кстати, авыневиделимоейреснички?

+ + +

На дубу сидели две черные «Волги», хлопали дверцами, каркали.

— Крестик, иди к нам, будешь работать соединительной штангой на руле.

— Ну да, вы же обломаете мою четвертую ногу. Ведь вам для руля нужна трехлучевая перекладина. Извините, авыневиделимоейреснички?

— Кр! Кр! Жми по трассе до перекрестка, а там направо, в смысле налево, за ГАИ.

И засигналили ему вслед музыкальным клаксоном из «Крестного отца».

+ + +

Когда он очень тосковал, то вставал на перекрестке и играл на флейте. Из-за холма ему слабо отвечало эхо из «Крестного отца».

+ + +

Джойс назвал женщину флейтой с тремя дырками. Крестик не считал. Балдел от музыки.

+ + +

Крестика поймали. Завязали руки над головой. Сковали кисти рук и ног. Бросили на асфальт. Он пытался высвободиться, раздувал кольцеобразно локти и колени — и так до бесконечности.

Бесконечность — это скованный крестик.

+ + +

В вырезвителе крестикую сломали руки и ноги. Загнули.

— Мы докажем, что фашист!

Какой он фашист? Просто перебитый.

+ + +

После этого крестик стал икать. Он всю дорогу икал.

— Я крест-ик, — знакомился. — Вот те крест-ик...

+ + +

У подмосковного шоссе на постаменте стояли противотанковые ежи.

— Группенсекс крестиков, — сказал нолик. Он загрустил.

+ + +

Долго шел он. И он только разводил руками.

+ + +

В центре Вселенной возлежал Крестный Отец на красном складном швейцарском ноже. Под ним таились четыре лезвия из привилегированной стали, ножницы, крылья, пила, штопор, лупа и пинцет для ресниц.

В экстренных случаях КО вынимал из-под пурпурной

полы отвертку для магнитофона (с крест юбразным сечени-ем), как корень воспроизводства.

Звучало из «Крестного отца».

+ + +

Если магнитофонную отвертку нашинковать мелко-мелко, то получаются отличные стальные крестики. Они годятся в пищу. Они не содержат пестицидов. Они сохраняются в организме человека 170 лет, не ржавея. И подают сигналы.

+ + +

КО возлежал и рассматривал в лупу ресничку, которая танцевала перед ним на хрустальном шаре, нет, на круглой слезе.

+ + +

— Авыневи... Отдайте, пожалуйста, мою ресничку!

— А это еще кто? Крестьянка! Тоже мне сюрпринц! Мы уже давно завершили раскрестикование страны. Послать его на лесозаготовки.

+ + +

Привилегированные схватили. Последнее, что он видел, — ресничка поскользнулась и упала со слезы. Ее подняли щипчики для ресниц.

+ + +

Вместе с ним миллионы крестиков пилили деревья. Крепчали морозы. Они превращались в кристаллы. 20 лет прошло. 20 зарубок оставил крестик на столбике.

+ + +

Два раза видел, как в синем небе пролетал красный нож, растопырив лезвия.

Звучало из «Крестного отца».

+ + +

Освободился. Пошел по стране. И только разводил руками.

+ + +

КО возлежал на красном ноже. Перед ним плясала ресничка, окруженная хороводом из 18 дочерей. Ах, б...!

КО навел лупу на пришельца. Крестик почувствовал, что его руки гигантски стали расти, как лучи у прожектора или штанги у строительного крана. У него руки великана!

Бац! Это крестик ударил по красному ножу. Лупа — вдребзги. Наш герой опять стал крохотным.

Сволочь! Ублюдок! Я лично раздавлю его. Посягнул на красную систему.

+ + +

Поединок! Поединок! Сверкнули ножи, ножницы. Рев из «Крестного отца» в 100 децибелов. Все удары нашего крестика ломались о красную броню. Отсечены две конечности нашего героя.

У КО есть коронный удар. Он ставит жертву к деревянной стенке, разбегается, выставив главное лезвие, делает через голову мертвую петлю — и бьет насквозь, вбивая несчастного вместе с лезвием на ту сторону стенки.

Конец крестик! Он вжат в стенку. Коронный!!!

Но что за голубая молния метнулась поперек броска?!

Ты, Гол. кот?! Ты заслонил собой товарища. Пол-лапы нету! Но удар ножа отклонился на каких-то два миллиметра. Крестик спасен. Нож по рукоять вошел в стенку, застрял. Ресничка моя, что ты моргаешь мне? Понял! Собрав последние силы, крестик прыгает на пытающегося высвободиться КО и впивается в его соединительный винт. Вывинчивает его!

КО распадается на элементы.

+ + +

— Ура! Мы всегда были за демократию и плюрализм! Тиран умер — да здравствует новый Крестный отец!

— Нет, друзья, я только крохотный крестик. Подойди, Гол. кот, обобришь на меня.

«Мы еще не квиты, — сказал Гол. кот. — Я тебе должен еще три лапы».

— Я только умею играть на флейте. Я отойду на минутку, успокоюсь. Я не крысолов, я крестик. Я сыграю вам и уйду.

— Возлюбленный, я была в плену, я всю жизнь любила только тебя. Я никогда ни с кем так не летала по небу, срастаясь в пятипалый цветок сирени.

— И я люблю тебя. Я только хотел, чтобы ты была счастлива. Я ни с кем так не летал, как с тобой, срастаясь в пятипалый цветок...

Он заиграл на своей флейте. Никогда я не слышал такой флейты. Когда звуки смолкли, все оглянулись, утирая слезы, и стали искать крестика.

Крестика нигде не было.

+ + +

Говорят, его видели в Ижевске. Иногда его флейту транслируют по радио.

+ + +

Когда крестик умер, его закопали в землю.

— А вдруг мы его вверх ногами закопали? Выкопали, перевернули вверх ногами. Снова закопали.

— А вдруг мы его вверх ногами закопали? Выкопали, перевернули вверх ногами. Снова закопали.

— А вдруг мы его вверх ногами закопали? Выкопали, перевернули вверх ногами. Снова закопали.

— А вдруг мы его вверх ногами закопали? — Пусть живет!

Крестоноты

+ + +

— Лягте на живот, расслабьтесь, ноги на уровне плеч. В вас вставят новогоднюю елку.

Не двигайтесь. А то с нее крестики осыпаются.

+ + +

Бегут два крестика, взявшись за руки.

Навстречу четыре звездочки.

— Вы — коньяк?

— Нет, мы — четырежды герой.

— Очень приятно.

+ + +

Крестики постоянны в любви. Крестик поднял возлюбленную на руки. И не знал, куда положить — все было недостойным ее. Так они и умерли — Она на руках у Него.

Крестик — памятник вечной любви.

+ + +

Крестик — это поза любви № 176 по хатха-йоге.

+ + +

Если раскрутить крестик пропеллером, получится нолик.

+ + +

В женщине начало начал. О — это не зеркало Венеры. Это поцелуй крестика и нолика.

Или Чарли Чаплина и, как заметил поэт, Великой Екатерины 0?

+ + +

Казанский собор — крестовый паук архитектуры. В паутине проводов.

+ + +

Если крестик в шляпе — значит, это огородное пугало.

+ + +

Крестики любят играть в городки. Очень приятно, когда руки-ноги разлетаются.

Любимое их чтение — кроссворды.

+ + +

Вы слышали — в лесу поют кресты?

+ + +

Говорят, Керенский переодевался медсестрой. Нарисовал на лбу красный крестик. И убежал. Сам Александр Федорович отрицал мне это.

Говорят, он переоделся матросом. Надел нолик бескозырки. И убежал.

Но это тоже неправда. Почитайте Берберову.

+ + +

— Крестик, где выход?

— Вон там!

+ + +

Крестик встает из-за стола, показывая нам, что аудиенция окончена.

+ + +

— Чемпион Икс переплыл Стикс.

— Крестик-с?

+ + +

— Это все не поэзия, не проза — это бред какой-то!

Крестик только развел руками.

+ + +

Крестикам разрешают выступать по телевизору. Но есть специальный редактор, который считает количество лучей у звезд на экране.

У кого шесть лучей — диверсанты.

+ + +

Когда большой X кричал на крестика, он думал, что крестик — буква, а это был другой знак.

+ + +

Летели два крестика навстречу друг другу. Встретились, схватились за обе руки — квадрат слиянья. Ногами болтают.

Ириска в целлофановом фантике?

+ + +

Полкрестика умеет делать «шпагат», верхняя половина на полу, нижняя — вниз головой.

Устричный бал

000

Вьюга, вьюга над нашим голодным городом, миллионы мятущихся крестиков — сплошная Варфоломеевская ночь!

000

В зале жар софитов. На концерте нолик взял самое верхнее «О-о-о!» Крестики повскакали с кресел. Объявили буфет. Все устремились к устрицам.

000

«Почему, — думал нолик, — спонсоры присылают нам небом эти сожмуренные веки моря, усладу римлян, а не сардельки, скажем?»

000

И над всем стоял гул опустевших поющих раковин, эхо влюбленных стонов, шепот волшебных кифар, III Рим, распадаясь, ловил позывные Рима дохристианского. Раковина Лужников была только створкой второй Галиполийского стадиона. Гул между ними наполнял и пространство и время. Вскроем черные ящики тайны!

000

60 000 размороженных ноликов на столах удлинненно лежали, женственно створки раскрыв.

000

Вскрывали консервными ножами, открывалками для пива, а то и об край стола. «Ишь, они на магнитках!» Были секретки. Пищали устрицы.

000

Вскрыли раковину. Из нее вылезла «Весна» Боттичелли. Съели.

000

Вустрицы — те же пельмени, но еще жестче на зуб. Тщательно пережевывайте скорлупки! Не сглатывайте целиком.

000

Пара влюбленная в раковину залезла, словно босховский «Сад Усад». Створки дрожали ритмично. Ступней торчали две пары. Одна была в красных носках. Их тоже съели.

000

Она меня укусила! Ошпарила как медуза.

000

Писатели подоспели к столу прямо от жаркого боя. У одних скулы были накрест заклеены полосками пластыря. Сияняк под глазом ноликов отличал. По загипсованной руке на белой привязи можно было узнать полкрестика.

000

Отвратный поэт, спев о страданьи народа, дюжину доедал. Ешь, ешь, страдалец, они абсорбируют химикал моря...

000

Парламентарии не уважают ТВ. Самый достойный из них во всех домах слизывал телевизионные линзы. Видно, как «Вести» в печенке сидят у него.

000

Трибун стоял у стола в поддетом бронезилете. Скорлупки луца, как семечки, он зубы сплевывал на пол, на тогу и в курчавые нолики бороды. Ах, устрицы, фряжские семечки! Вернее, он был пол-Трибуна. Нижняя половина, скрытая под столом, уже без бронештанов, еще не отделилась, но уже принадлежала Украине.

000

А рядом заглывала белокурая вице-певица. С каждым глотком на шее ее появлялась ещё жемчужина. Южная половина ее тайно принадлежала демократии. Вилочкою-трезубцем отделивая живые тельца, она ловко открывала хрящеобразные присоски, которыми несчастные держались за раковины.

000

Вы глотаете вытекшие глаза Вечности, мадам!

000

«Устрицы страсти способствуют, — подкатывался Трибун. Тьфу, какая вкуснятина! Мы, гуманисты, их не убиваем — мы их глотаем живьем. Помню, на флоте, — в Крыму, от римлян остались колонии мидий».

000

Нолики считают, что крестик — индивидуалист. У него и в числителе единица, и в знаменателе единица.

000

«Вот я и говорю, — соглашалась вице-певица. — Ой, стресс — продолжала она по-английски. Я первый раз, я такая неопытная. Перед концертом обычно я яйца глотаю».

000

Нолик катился, как между урнами, между отделившимися нижними половинками. Как запрограммировал Гоголь нас своим Носом! Головы, локти, пальцев фаланги суверенно разгуливали по паркету.

000

С голодухи и устрицей осквернишься! Нолик давно не обедал. Он подкатился к беседующей паре и привстал на цыпочки, рот восхищенно открыв. Вице-певица ласково глазом стрельнула, капнув лимоном, вилокую ткнула в него. Она проглотила нолика.

000

«О-о-о!» Так глубоко не удавалось проникнуть ни одному отоларингологу. Он пролетел мимо волшебного язычка, миновал серебряное горлышко. Он оказался в святая святых.

Видно, Сальвадор Дали уже побывал там когда-то — как он точно изобразил красно-темный внутренний мир дамы!

000

Нолик спустился вниз по эскалатору. Навстречу ему поднимались пузырьки шампанского, аромат кольцеобразного лука и темнота желаний. Переливались жемчужины любви. Нолика, Муза воспой! Ахиллесе такого не снилось...

000

Внутренняя жизнь насыщена. Он миновал митинг живых, ранее проглоченных моллюсков. Вот и переход.

000

В переходе торговали прессой. Газета «Попка Оля» — стала национальным достоянием.

000

Один крестик стоял с пустым лотком. Он продавал надежду. Подходили с целлофановыми мешками. Туго набивали. Отлетали, как на воздушных шарах.

000

Купите «Воздух СССР», запечатанный в консервные банки! Взят до декабря 1991 г.

000

Почем репродукция «Устрица нашей Родины?»

000

Бабу с яйцами затолкали.

000

Гознак выпустил никелированные нолики с золотой серединкой. Достоинством в 50 руб. Нолик нарезал крутое яйцо ломтиками. Объявил по 70 руб. Расхватили.

000

Другой нарезал ломтиками замороженную бутылку «Лимонной». Хорошо попить чай с лимонными дольками!

000

А третий, наоборот, прикрепил к ломтику лимона ремешок и продавал как золотые наручные часы. Время было кислым.

000

Нет поясам невинности! Приобретайте секретки для жен и Прекрасных дам!

000

Справа на прессу напирала пикетчики: «Долой клубниченку! Черниченку долой!» Слева подпирала: «Хотим клубниченку! Черниченку хотим!»

000

Пресса умирала на полу, как в больничном коридоре. «Цензуры бы», — стонали худеющие толстые журналы. Отвратный поэт торговал крестиками под названием «Аксиома». Ах, Сиона?!

000

Бабушка вынесла часы-луковицу и плачущую нитку жемчуга северных рек.

000

С вывески «Чебуреки» отвалилась буква «Ч». «Чего реки?» — не понял нолик. А может быть, это была контора по переброске рек?

000

— Или это валяются раскрывшиеся створки гробов, и покойники гуляют меж нами?

000

На лотках секс-шопа шевелились пневматические нолики.

000

На кафельном полу сидел товарищ и дул в раковину с надписью «Привет из Крыма», словно Тритон на мозаике «Триумф Амфитриты».

000

На бороздках раковин, словно на грампластинках, гул времен записался.

000

Конь-качалка стоял на полнолике. Всадники сменялись. Во время качки конь вздымался, как Медный всадник. Покачаться стоило жизнь.

000

Тут кто-то оценивающе взял нашего нолика за плечо: «Даю 500 деревянных!»

«500?! Никогда! Я не продаюсь!!» — завопил нолик.

000

«Что? Какие 500?! Разве я предлагал вам 500? — услышав, изумился снаружи Трибун. — Я увезу вас в Усть-Рицу, дорогая».

000

«Ах, это я не вам. Это мой внутренний голос, — извинилась вице-певица. — А в Усть-Рицу первым классом?»

000

Чревовещательница! Вокруг собиралась толпа. Трибун оттирал желающих.

000

Нолик в испуге продолжал свое сентиментальное путешествие. В набитых коллегами вагонах он несся по Большому кольцу. Мелькали станции. Несясь прозрачными туннелями, он имел возможность оглядеть противоречивый внутренний мир певицы. Как цветная проводка, мелькали капилляры. Как много она заглотала!

Желудок Ее принадлежал Украине. Сердце с красными любовными зарубками, работая локтями, бежало к центру. Сквозь сердце проходила трещина Империи. Печень тяготела к Джонни Уокеру, секс стремился к всеобщей демократии, мозги норовили утечь на Запад. Но почему-то никто не слал приглашения.

000

Пусто в желудке. Жуть! На сводах купола нацарапаны имена погибших узников. Дул промозглый ветер разочарования перестройкой. На стене висела красная схема разделки коровьей туши. Москва была очерчена кружочком. Молдова была отмечена тремя крестиками.

Как слезы, бежали нолики, были еще живые. Пели о прошлой жизни.

000

Как там наверху жизнь без нас?

000

На потолке он заметил трещинку с точками по бокам. «Боже! И Ей тоже резали аппендицит», — ужаснулся нолик. «Ты моя раненая раковинка!» Он заплакал от жалости к женщине. Слезы капали на стены желудка.

«Видно, опять я переела соленого», — сказала снаружи вице-певица.

000

Сквозь завораживающую мелодию внутреннего голоса, снаружи, из-за стен желудка и иных стен, гулко и глухо доносились голоса прошлой жизни, простуженный мужской баритон и женский контральто, доносились обрывки светских речей, а дальше еще, из-за шатающихся стен роптал голодный город, гул катастроф, а за ним сперва неясно, но все отчетливей и неотвратимей вступал гул Судеб.

000

— С миром державным я был лишь ребячески связан. Устриц боялся...

000

— Вустрицы бывают разные — Белоны и Клэр. Белоны — плоские изумрудные аристократки. Они жили в устьях рек, устьицы. Во Франции их классифицируют под номерами 00, 0,1, 2... Римляне занесли устричную науку на берега Бретани. Марены — гигантские, соленые от моря, идут под № 00. На Руси водились речные. С замороженным жемчугом...

— Колбаски бы...

— Пруст-устрица подсознания. Прустрицы. Устмодернисты.

— Открываю футляр, а там две жемчужины.

— Читали, как «Огонек» разоблачил Мадонну? Оказывается, ее мать — нищенка на Савеловском вокзале. Вот из окна виден крестик с протянутой рукой.

— Для Запада все мы — страна нищих крестиков с протянутыми руками. А Запад для нас — нули в банке.

— \$ 25 000 000 000 : 315 000 000 = 80 долларов на рыло. Выдайте мне мои 80 зелененьких, и я пошел!

— Поэтому мы и не выиграли Зимнюю Олимпиаду. Все наши отечественные лыжные палки имеют на концах крестик в нолике. А на нынешних состязаниях нам дали палки без крестиков. Вот и результат. Ну, ничего, в Барселону мы со своими лыжами приедем.

— Трибун, Ваше сердце в броне. Дать Вам консервный нож?

— Veni, vidi, vici.

— Потом все Белоны заболели и вымерли. Наверно, после повышения цен на нефть. Японцы стали искусственно выводить Клэров. Их раковины бугристы, цвета варенок. Устрицы содержат все ингредиенты.

000

Тут нолик вспомнил свое детство. Как его враслили песчинкой в раковину. Как он рос в колонии, как ощутил себя жемчужиной. Как мечтал со сверстниками о будущем, присосавшись к столбу. Внимательные раскосые глаза склонялись над ним. «Рэндзю, рэндзю...» — запомнил он музыку таинственной речи.

УРКИ
СААЕ
ТСКР
РТ О
ИУ Г
ЦТ Л
Ы И
Ф Ы

Прабабушка рассказала ему, как Клеопатра растворила ее в уксусе и выпила. Грабители вскрыли гробницу, жемчужину освободив.

000

- Схлебывая, не порежьте губ!
- Мадам, это не устрица, а писсуар.
- Сэр, это не писсуар, а устрица.

— А вы куда? У вас в паспорте нет буквы «Р». Вы — Май, и вы, Июнь, тоже. Вам не положено. Пропускаются только с буквой «Р» в паспорте. Январь, апрель? Пожалуйста.

— Устин Устоевич, ваше здоровье.

— Надо же! Правый кабинет писателя опечатали ноликом, а левый скотчем, в виде крестика.

000

Нолик докатился до слепой кишки. Шеренга слепцов-крестиков брела гуськом, выставив перед собой вытянутые палки. Палки одних указывали налево, другие — направо. Обогнув их, нолик покотился дальше. Но сквозь потолок доставали голоса.

000

— В скорлупу бы залезть. Схорониться бы.

— Я полагаю также, что Рим должен быть разрушен.

— Вы были в Прадо? Там в зале Гойи на стенке черные ружья расстреливают белого испанского крестика.

— Прости, Рим. Какая империя рухнула!

— В Риме заложена смерть — РИМРИМРИМРИМРИ — МРИ...

— Крестики сдают свои шпаги на вытянутых руках.

— Ван Гог обожал устриц. Устрица — это ухо, наполненное слухом. Отрезав, он схлебывал музыку из ушной раковины.

— Вопросительные уши.

— Со стола и унести нечего.

— Среди них есть мини-мини. Я начал черную ножом вскрывать — как жажнет! Шесть пальцев оторвало.

— Открой капот — закипает!..

— Как не стыдно! Я контейнер ветчины украл, а они моллюсками балуются...

— Устричный бал — это «белая собачка», чтоб отвлечь внимание возмущенной общественности от главных преступлений либералов.

— Нолики и крестики, соединяйтесь в руль. Вырулим!

— Устричная зона объединяет страны вокруг раковины Черноморского бассейна — Турцию, Кавказ, Украину и Балканы.

— Живу я ул. Устрицкого, д. 36 б. Жду.

— На сковородку их! На оладушки пустить. На белковый омлет.

— В Новом Орлеане их жарят с омлетом и сыром.

— О чем поют устрицы?

000

Смелее, нолик, вперед! А вот и сонная артерия. Ей снилась свадьба и крестик аиста над крышей. «Сплюсплюсплю, — завораживал внутренний голос, — сплюсплюсплюс-ПЛЮС...» На глазах нолика родился жемчужный плюсКрестик. Крестики рождаются из снов.

000

Вот почему издавна в Англии «X» означает знак поцелуя. XX — ставят в конце письма англичане. Больше их количество заставляют покраснеть адресата. Крестик — эмблема любви.

000

Внутренний голос звучал все сладостней. Голова кружилась. Он понял, он постиг внутренний мир певицы. Как Ты добра и несчастна! Он полюбил Ее влажный, глубокий, доносящийся снаружи голос. Нолик покрывал поцелуями стенки Ее живота.

000

— Ах, я уже чувствую вас в себе, я ощущаю вас в глубине души, ах, ах, ах, — сказала снаружи певица.

— Я еще не там, пошли на балкон, дорогая.

000

Живот прогнулся, завибрировал, начал продавливаться внутрь, чуть было не раздавив нашего героя. Донесся лязг снимаемого бронжилета. «Сейчас начнется», — ужаснулся он.

000

Он едва успел выскочить наружу.

«О-о-о»

Снаружи взору его открылась победоносная картина. Никого не было. Все были съедены. На перламутровых доньшках раковинок отпечатались отражения бывших лиц.

Проглотившие их устрицы захлопывали створки и, отяжелев, расплзались. Ползли, посвечивая фраками раковин. Они сухо шуршали крылышками, подобно тьме саранчи. Некоторые из них взлетали, но бились о стекло и со стуком падали.

Бедные крестики, нолики, раковины роковые!

Удар! Окно разлетелось вдребезги. В него из ночи съехала гигантская раковина маскировочной расцветки.

При ближайшем рассмотрении она оказалась гусеницей бронетранспортера.

— Товарищ Трибун, БТР подан!

Крестик в аду

Утром она сказала: «Заскучал ты чтой-то, отощал, в доме шаром покати. Взял бы банк что ли...»

Он решил брать Банк памяти. Захватил с собой нолика вместо целлофанового мешка. Набрал факс.

Очнулся в банке нулевой формы. Она парила в пространстве — прозрачная, больше чем из-под томатного сока. Вся страна была под банкой.

Все было светло и прозрачно, но как во время белой ночи — тревожаще. Будто душа пыталась что-то вспомнить, но непонятно что.

Перед входом напирала толпа желающих. С наружной стороны по стеклу над входом было что-то написано. «ВАТСО...Н» — прочитал он полустертые буквы. «Что-то сыскное?» — подумал.

Внутри в прозрачных сейфах Памяти, как стопки тарелок, лежали нолики. Крестики были сложены в поленницы.

Сбоку все они имели форму минусов.

«История в минусе», — пояснил в мегафон до боли знакомый внутренний Голос. Антенка, куда ты завела?

Все мучились чужой памятью. Ноликов мучили грехи крестиков, и наоборот. Нестерпимый свет познания. Тьма света.

Дон Кихота мучило, что он круглый, как ветряные мельницы. Санчо Панса каялся в избытке духовности.

Один минус метался под углом 40°. Два микроскопических нолика прилипли к нему с боков.

— Это тростиночка в «Зубровке» с пузырьками воздуха? — подумалось.

— Нет, это старушка-процентщица, — пояснил Голос, — она не спит, все мечется, мучается, что она убила Раскольникова.

Другой минус оказался Министром пестицидов. Он лежал в виде рта со столовой ложкой. Он поедал натуральные удобрения и выделял химические. Потом поедал и те, осуществляя круговорот в природе.

Плакал Смех. Скучала Судьба.

Крестик, уже хороший, растягивал гармошку. Он пытался делать это параллельно Земле. По мере того как он нажимал

на кнопки клавиатуры, видно дистанционной, на Земле взлетали города и корчились землетрясения. Он плакал от ностальгии.

Снаружи толпа перла к входу. У одного в наушниках звучало: «надежды маленький, о крестик...». Охранник показал на надпись над входом «ОСТАВ...Н», — прочитал буквы наоборот крестик. — «Оставь надежду...»

— Боже! Так, значит, я в Аду! — понял он, — Но я же набирал Банк памяти!

— У вас ошибка в наборе, вы набрали лишний ноль. Это Ад, вернее, Чистилище. (Ах, зачем я брал особой нолика, он опять сунулся и разыграл меня...) Видите, светло, как в Аду.

— Но я читал, что Ад имеет винтообразную форму, — продолжал он защищаться.

— Вон твой Дант, глуп как пробка. Ад, как и мысль, не имеет формы. Мы ежедневно вкручиваем штопор в твоего флорентийского дезинформатора. Ад — это духовная субстанция. Души и судьбы клиентов закодированы в имена.

Вокруг зевала Постистория. Постпустота. Рефлексиروвали нарцизиы. «О, лбы», — бубнил новый философ.

НЛЮлики готовились к отлету в Воронеж. Улыбки у них были дужками вверх, что наводило на жутковатые мысли.

Шулера Рэндзю готовили очередной чемпионат. Нолики тренировались делать переворот. Но как ни перевертывались, все оставалось прежним. Они были круглы и одинаковы со всех сторон. Рядом тренировались крестики.

— А ты что тут делаешь, Постирушкин? — Он увидел сына тети Иры, их школьной библиотекарши. Тот был в адидасах.

— Я работаю здесь администратором. — Это и был знакомый Голос. — Когда информация переполняется, я вырубая ток, стираю память. И все превращается в точку. Ад — это точка. Хочешь, покажу, как это делается?

На стене царил крестообразный Рубильник. В лунном аду пахло «Черемухой».

«Поступательная история завершилась. В Постистории «я» «не-я». Наступила высшая свобода — свобода от себя. Больше ничего не произойдет. Пастбища постбудущего. Единственно, что здесь запрещено, — это поступки.

— По стопке?

Выпили по нолику. По небу за стеклом гуськом летели крестики. Не понять куда. Сюда? Отсюда? Постутки.

— Вдумайся: «Пост, пост, СТОП!» Это одинаково на всех языках. Время перестало существовать. Привет, абсолютный салют!

— Ддттчк!..

— аазооа...

— Да, ад — это точка. Нно он может быть ббесконечно ббольшим, безразмерным...

— А на Мешалкину налезет?

— Думаю, да, но не уверен. Давай примерим?

Позвали Мешалкину. «Не!» — вздохнула Мешалкина. Но примерить согласилась.

Ад лопнул.

Все нолики полопались со смеха. — «Свобода!» Но через мгновение их окружил новый ад, еще краше, еще светлее.

— Вот видишь, — продолжал Постирушкин. — Ничего не может произойти. Все во власти Рубильника. Стоп, история! XX век завершил ее. Происходит Ничего. Спираль кончилась. Это уже не Ад, но и не Рай — я бы назвал «Рад». Идем по кругу, по нулю. Ваша постстрана повернула к капитализму. Потом вы начнете опять готовить социалистическую революцию.

НЛОлики вернулись из Воронежа. Улыбки их были дужками вниз, что навевало на жутковатые мысли.

— СССР — страна полуноликов, когда полунету всего.

Моделируем эволюционный переход к Апокалипсису. Без лошадей. Одни ищут аномальные центры в космосе над нами, другие в земле под нами. Но ад внутри нас.

Приглядишься к градуснику напротив Центрального телеграфа. Это крестики, нанизанные на кровавый шампур ртутного столба.

— Так, значит, в аду все, как у нас? — Нет, это у вас все, как в аду. Ваши постпартии лишь пародируют постидеи. Нет, да и не может быть новой мысли. «Было, было», — долбил философ.

— А как же «Теория крестиков и ноликов»? — обиделся наш герой.

— Не знаю. Не проходили. А ты, крестик, еще в школе с парты всегда тянул руку с каверзными вопросами.

— Но я же живой! Смотри, мои антеннки отросли по полмиллиметра, пока мы беседуем. Где у вас парикмахерская?

000

За стеклом небесные ангелы обстругивали лучи и сплетали из них нимбы. Демоны обстругивали тени и плели черные дыры.

000

— И взгляни — там на Земле девочка с косичками, туго заплетенными в золотые крестики, рисует мелом на асфальте нолики. Это новые нолики...

Тут умная их беседа прервалась. Услышав живой голос, страдальцы чистилища бросились к ним.

— Спаси нас, Гость! — кричали и Дант, и старушка, и утки, и заплаканные народы, все молили «Спаси!»

Крестик стало мучительно больно за их бесцельно прожитые годы. Я вам покажу, как ничего не происходит!

«СТОП, ПОСТ!» — заорал он, бросился к рубильнику и выломал его.

И тут он услышал Голос, это не был тембр Постирушкина или Мадонны — это был тот Голос, что звал его всю жизнь. Не понимая слов, он понял смысл. Смысл сводился к состраданию и еще к чему-то, что мгновенно сложилось в подсознании в песнь-молитву. «Спой, крестик, не стыдись!!» — шептали спасаемые народы. Вера без дел мертва. Не только слушать небо, но и петь небу. Перестроив антеннку, он запел. По мере того как пел он, судьбы преображались. И звуки его голоса...

Постирушкин хихикнул и нажал дистанционную кнопку. И все — и Дант, и старушка, и все, что жили раньше и собирались жить после, и эта история, и постистория, и печаль пространств, и песнь-молитва, и все народы, и автор, и вы, милый читатель, и даже верный страж Постирушкин — все превратились в точку.

Точка. Только точка в беспредметной пустоте.

000

Точка шевельнулась. Из нее вылезли антеннки.

Крестик проснулся и побежал делать зарядку. Он пел.

С горы катился нолик.

Улисс улиц	5
Мое первое стихотворение	7
«И холодно было младенцу в вертепе...»	12
Апельсины, апельсины...	79
О	85
Люблю Лорку	180
Голубой зал Кремля	186
Властитель чувств	201
Белые ночи Б.Г.	208
Портрет Плисецкой	214
А.Г.В.	221
Человек с древесным именем	227
Виртуальные витражи	233
Невстреча у источника	248
Хроника из жизни ноликов и крестиков	260

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Редактор А.Л. Костянян

Младший редактор Е.А. Антонова

Художественный редактор Т.Н. Костерина

Технолог С.С. Басипова

Оператор компьютерной верстки А.В. Волков

Компьютерная верстка переплета С.Б. Мжельский

П. корректоры В.А. Жечков, С.Ф. Лисовский

Издательская лицензия № 065676 от 13 февраля, 1998 года

Подписано в печать 06.06.2000. Формат 70х108/32

Гарнитура Ньютон. Печать офсетная

Объем 8,5 печ. л. Тираж 7 000 экз.

Изд. № 1319. Заказ № 1353

Издательство «ВАГРИУС»

129090, Москва, ул. Троицкая, / / 1

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2: 95 3000 — книги, брошюры

Электронная почта (E-Mail) — vagrius@vagrius.com

Получить подробную информацию о наших книгах и планах,

авторах и художниках, истории издательства,

ознакомиться с фрагментами книг,

высказать свои пожелания и задать интересующие вас вопросы

вы сможете, посетив сайт издательства в сети Интернет:

<http://www.vagrius.com>

Отпечатано в ГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»
432601, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Фирменный магазин «36,6 — Книжный двор»:

Тел.: (095) 265-86-56, 265-81-93

Книжная лавка «У Сыгина»:

Тел.: (095) 156-86-70. Факс: (095) 154-30-40

По вопросам оптовой покупки книг
издательства АСТ обращаться по адресу:

Звездный бульвар, дом 21, 7-й этаж

Тел. 215-43-38, 215-01-01, 215-55-13

Книги издательства АСТ можно заказать по адресу:

107140, Москва, а/я 140, АСТ — «Книги по почте» 9

ISBN 5-264-00305-X



9 785264 003059 >

У поэта *особое* видение мира.
Поэт находит *особые* слова, чтобы его выразить.
Поэт облекает свои мысли в *особую* форму.
Порой поэту становится тесно в рамках стиха.
Тогда на свет рождается

ПРОЗА
Поэты

проза *особого* качества.

В *новой серии*
издательства "ВАГРИУС":

Александр Пушкин
Андрей Вознесенский
Михаил Лермонтов
Владимир Высоцкий
Александр Блок
Анна Ахматова
Борис Пастернак
Марина Цветаева
Зинаида Гippiус
Сергей Есенин
Анатолий Мариенгоф
Осип Мандельштам
Андрей Белый

и многие другие — классики и современники.



ПРОЗА
Поэма

В А Г Р И У С